

Виктор Мануйлов

Роман-эпопея

ЖЕРНОВА



1918

~

1953

Виктор Мануйлов

Жернова. 1918–1953.
Книга седьмая. Держава

«Автор»

2018

Мануйлов В. В.

Жернова. 1918–1953. Книга седьмая. Держава /
В. В. Мануйлов — «Автор», 2018

Весна тридцать девятого года проснулась в начале апреля и сразу же, без раскочки, принялась за работу: напустила на поля, леса и города теплые ветры, окропила их дождем, — и снег сразу осел, появились проталины, потекли ручьи, набухли почки, выступила вся грязь и весь мусор, всю зиму скрываемые снегом; дворники, точно после строгой комиссии райсовета, принялись ожесточенно скрести тротуары, очищая их от остатков снега и льда; в кронах деревьев загалдели грачи, первые скворцы попробовали осипшие голоса, зазеленела первая трава. И люди сразу же переменились: мужчины сняли шапки и теплые пальто, женщины платки и боты, одежда стала ярче, на лицах появились улыбки, — и оттого, что весна, и оттого, что кое-что переменилось в самой жизни: она освободилась от каких-то связывающих ее оков, для многих невидимых, но вполне ощутимых...
Текст публикуется в авторской редакции

© Мануйлов В. В., 2018

© Автор, 2018

Содержание

Часть 24	6
Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	13
Глава 4	18
Глава 5	23
Глава 6	28
Глава 7	31
Глава 8	33
Глава 9	37
Глава 10	40
Глава 11	43
Глава 12	45
Глава 13	48
Глава 14	50
Глава 15	54
Глава 16	58
Глава 17	61
Глава 18	63
Глава 19	66
Глава 20	67
Глава 21	71
Глава 22	74
Глава 23	77
Глава 24	81
Глава 25	85
Часть 25	86
Глава 1	86
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Виктор Мануйлов
Жернова. 1918–1953
Книга седьмая
Держава

© Виктор Мануйлов

Часть 24

Глава 1

Весна тридцать девятого года проснулась в начале апреля и сразу же, без раскачки, принялась за работу: напустила на поля, леса и города теплые ветры, окропила их дождем, – и снег сразу осел, появились проталины, потекли ручьи, набухли почки, выступила вся грязь и весь мусор, всю зиму скрываемые снегом; дворники, точно после строгой комиссии райсовета, принялись ожесточенно скрести тротуары, очищая их от остатков снега и льда; в кронах деревьев загалдели грачи, первые скворцы попробовали осипшие голоса, зазеленела первая трава. И люди сразу же переменились: мужчины сняли шапки и теплые пальто, женщины платки и боты, одежда стала ярче, на лицах появились улыбки, – и оттого, что весна, и оттого, что кое-что переменилось в самой жизни: она освободилась от каких-то связывающих ее оков, для многих невидимых, но вполне ощутимых.

Впрочем, были и видимые приметы: вышло постановление Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) о прекращении чисток, о ликвидации так называемых «троек», которые вершили суд и расправу, о строгом следовании советским законам, об ответственности прокуратуры, судов и следственных органов за нарушение этого постановления. И действительно, по ночам перестали урчать «черные воронки» и «хлебные фургоны», в которых перевозили арестованных, перестали топтать по лестницам сапоги и звучать придушенные крики женщин, провожающих в неизвестность своих мужчин, газеты и радио уже не говорили о врагах народа и лишь иногда о перегибах, допущенных органами во время Большой чистки, в результате чего были осуждены ни в чем не повинные граждане.

Люди постарше вспомнили, что примерно такое же ощущение освобожденности возникло у них после отмены военного коммунизма, с введением нэпа. Однако нынешнее время имело и существенное отличие: молодежь не оглядывалась назад, смотрела только вперед и все, что происходило на ее глазах, считала своим делом, принимала как должное. Да и жизнь улучшилась во многих отношениях: в магазинах полно продуктов и промтоваров, правда, очереди, но не такие уж большие; правда, выбор не слишком велик, но ведь вчера не было и этого. И еще новшество: в кинотеатрах перед очередным сеансом выступают эстрадные артисты не только с песнями и плясками, но и с юморесками по поводу всяких недостатков в общественной жизни, бюрократизма, зажима критики, бесхозяйственности и других пороков. Люди смеются до слез, до истерик, узнавая в этих юморесках самих себя или своих сослуживцев, а старики, незаметно перекрестясь, говорят, что, слава богу, наконец-то полегчало и стало образовываться.

Подобное наблюдалось не только в Москве, но и в провинции, словно вся огромная страна куда-то неслась несколько лет в бешеной скачке по оврагам и буеракам, давя встречаемых, поперечных и сорвавшихся с приступков, но вдруг ямщик натянул вожжи – и кони перешли на рысь. Еще трясет, но уже не так, еще срываются с приступков, но исключительно по своей глупости, и можно наконец оглядеться и перевести дух.

* * *

10 апреля в Москве день выдался особенно теплым. С утра прошумел веселый дождь, умыл улицы, крыши домов, деревья, – и город засиял и подобрел. К вечеру, как водится о сю пору, похолодало, но лишь самую малость, зато терпкие запахи весны стали еще слышнее,

на улицы и в скверы высыпал народ, точно на демонстрацию, кинотеатры переполнены, в театрах полный аншлаг.

В этот вечер Николаю Ивановичу Ежову, наркому водного транспорта, позвонил со Старой площади помощник секретаря ЦК Жданова. Поздоровавшись, он сообщил:

– Андрей Андреевич специально приехал в Москву из Ленинграда, чтобы обсудить и решить с вами, товарищ Ежов, некоторые вопросы организации навигации на Волго-Балтийском и Беломорско-Балтийском каналах, – звучал в трубке телефона мягкий баритон чиновника. – Конечно, Николай Иванович, товарищ Жданов мог бы и сам приехать к вам в наркомат, но у Андрея Андреевича слишком много дел накопилось по линии секретариата ЦК. К тому же, у него на завтра, на вторую половину дня, запланирована встреча с товарищем Сталиным по делам ленинградской партийной организации... Короче говоря, вы сами, товарищ Ежов, должны понять и извинить товарища Жданова. Именно так и просил передать вам Андрей Андреевич. Он ждет вас завтра утром к одиннадцати часам.

Николай Иванович и понял и извинил: в кремлевской иерархии он, Ежов, уже далеко не та фигура, с которой нужно считаться. В свое время он и сам не слишком-то церемонился с некоторыми наркоматами и даже членами ЦК. Теперь вот и с ним тоже не очень-то церемонятся. Впрочем, это не так уж и важно. Важно другое: долго ли ему ходить под занесенным над его головой топором? А что топор занесен, он это знал доподлинно: в заговоре против Сталина обвиняют не для того, чтобы человек продолжал жить и здравствовать. А именно в таком заговоре обвинил Ежова и его ближайших помощников по НКВД заместитель Ежова Лаврентий Берия, состряпав на них соответствующий донос. И ЦК партии с этим обвинением согласился. Следовательно, дело это закрутилось не без ведома Сталина. И сразу же Николая Ивановича сняли с наркомов внутренних дел, оставив ему один лишь водный транспорт. Затем почти всех, с кем он работал в наркомате внутренних дел, новый нарком внутренних дел Берия арестовал, им предъявили обвинения в превышении власти, сведении счетов, в заговоре, измене. А он, Ежов, все еще на свободе. Когда-нибудь это должно кончиться. Уж скорее бы. Сил нет вздрагивать от каждого звонка в дверь, цепенеть от каждой газетной статьи, разоблачающей явных и тайных контрреволюционеров, предателей дела Ленина-Сталина, пролезших в НКВД и уничтожавших во время чистки своими грязными руками лучших сынов партии и народа.

Какой никакой – лишь бы конец.

А может, пронесет?

Вот и постановление ЦК вышло о прекращении чисток, ликвидации «троек», воцарении, так сказать, законности и прочего. Конечно, это прежде всего политика, а практика – она может и не измениться так сразу. Но когда-то же все это должно закончиться, потому что все когда-нибудь заканчивается. И неужели Сталин не понимает, что Колька Ежов на заговоры не способен? Да и с кем Сталин тогда останется? С Берией? Так Берия его продаст с потрохами, как только возникнет такая возможность. А если понимает, следовательно, может этому делу хода не дать. Да и вызов к Жданову... вернее, приглашение, ничего особенного в себе не таит: скорое открытие навигации – не выдумка, а факт, надо показать готовность флота, портов и водных путей, утрясти кое-какие вопросы.

Утром Николай Иванович заехал к себе в наркомат водного транспорта, прихватил нужные бумаги, с заместителями посоветовался, чтобы не ударить в грязь лицом, и вот теперь, сопровождаемый помощником, ехал в Кремль на персональной черной «эмке», ведомой персональным шофером, то впадая в тихую панику, то цепляясь за любую маломальскую надежду.

Машина засигналила, сворачивая на улицу Кирова, и Николай Иванович, очнувшись, глянул в окно. И с изумлением заметил на тротуарах необыкновенное оживление и скопление народа.

– Что у нас сегодня за день? – спросил он у своего помощника.

– Понедельник, – ответил помощник.

– Я не о том. Праздник, что ли, какой?

– А-а... – Помощник тоже воззрился в окно автомобиля на текущие потоки людей, пожал недоуменно плечами. – Никакого праздника. Обычный рабочий день.

– Ишь, разгулялись, – проворчал Николай Иванович, откинувшись на спинку сиденья. – Делать им нечего.

Помощник скорчил сочувственную мину: действительно, делать им нечего, что ли? – но ничего не сказал.

В специальной комнате здания ЦК на Старой площади Николая Ивановича обыскали. До этого не обыскивали: удостоверение наркома служило гарантией от всяких обысков и проверок. Производивший обыск незнакомый лейтенант госбезопасности вежливо извинился, пояснил:

– К нам поступили сигналы, что готовится теракт против некоторых членов Цэка. Велено обыскивать всех без всякого исключения. Так что прошу извинить, товарищ Ежов.

– Ничего, ничего, – одобрил действие лейтенанта Николай Иванович. – Служба – я понимаю. – А в душе у него что-то оборвалось: «Неужели... конец?»

Однако страха своего не показал, подхватил кожаную папку с бумагами, прошел к лифту, радушно поздоровался со знакомым пожилым лифтером, но на четвертом этаже, едва вышел из лифта, ноги вдруг отказали, Николай Иванович прислонился к стене, обмяк, слышал лишь, как гулко стучит сердце и звенят в ушах мириады цикад.

Прежде чем идти в кабинет Жданова, зашел в туалетную комнату, плюхнулся на диван, торопливо достал папиросы, закурил, ломая спичку за спичкой. Вспомнил, что жена сегодня принимает гостей, она там культурно проводит время со всякой швалью, а он здесь... Неужели думает, что если с ее мужем что-то случится, она останется в стороне? Дура баба! Пойдет следом. В лучшем случае – расстрел, в худшем – лет десять-пятнадцать лагерей, где каждый день будет молить своего жидовского бога о том, чтобы уснуть и не проснуться.

Как жаль, что он в свое время не прихлопнул многих из тех, кто регулярно ошивается в его квартире, пьет его водку и коньяки, жрет его икру. Если ему приплетут заговор, он включит в его активные члены всех, кого не прихлопнул сам. А Бабеля – в первую очередь. И не потому, что тот прелюбодействовал с его женой, – черт с нею, со старой хавроньей! – а потому что... и потому что прелюбодействовал – тоже. Ничто не должно оставаться без наказанным.

Немного успокоившись, Николай Иванович ополоснул лицо холодной водой, вытер его вафельным полотенцем, одернул перед зеркалом пиджак, в котором показался себе маленьким и жалким, каким и был когда-то Колька Ежов с Петербургской окраины.

Выйдя из туалета, он пошагал к знакомому кабинету. Облизав шершавым языком такие же шершавые узкие губы, открыл дверь, вошел в приемную, быстро схватил помещение цепким взглядом: знакомый помощник Жданова – и больше никого. Перевел дух, вымучил на скуластом лице улыбку, поздоровался, спросил:

– Андрей Андреич у себя?

Помощник глянул незряче, произнес сухо и отчужденно:

– Вас просили подождать: товарищ Жданов занят.

Николай Иванович прошел к окну, сел на диван, положил рядом папку. Молчать было мучительно, но и говорить с помощником вроде бы не о чем: не та фигура.

Прошло минут пять. В приемной никого, тишина такая, что тиканье больших настенных часов бьет по ушам ударами молота. Открылась наружная дверь, кто-то заглянул и скрылся. Помощник нервно повел плечами. «Арестуют!», – весело подумал Николай Ива-

нович. И даже хохотнул. Помощник глянул на него с недоумением, еще ниже опустил лобастую голову, еще усерднее заскрипел пером.

Оказывается, секунды могут тянуться бесконечно. Даже не глядя на часы, Николай Иванович ощущал всем своим существом, как нерешительно дергается и спотыкается о невидимую преграду секундная стрелка, а вместе с нею спотыкается и его сердце. «Пить надо бросить», – вяло подумал он и прикрыл глаза, пытаясь отвлечься... ну, хотя бы на те же проблемы водного транспорта. Не отвлекалось. Что-то мешало, сидело в мозгу, как ржавый гвоздь в истлевшем дереве. Полная протрация и покорность судьбе. Так бы вот незряче и бездумно раствориться в воздухе, исчезнуть. Был Колька Ежов и – нету.

Двери распахнулись со стуком, стремительно вошли четверо: два незнакомых майора госбезопасности и два старших лейтенанта. И напрямик к Николаю Ивановичу. Один из майоров – старший майор – приказал:

– Встать! Вы арестованы!

Николай Иванович усмехнулся: как все, оказывается, просто, медленно поднялся на ноги – ноги держали, и сердце стучало не так уж сильно, и никаких сверчков в голове.

Новая команда:

– Руки за спину! Следуйте за нами!

Николай Иванович положил на стул папку, заложил руки за спину, повернулся, пошагал к двери.

Старший майор впереди, старлеи по бокам, просто майор сзади. Пустынный коридор, пустынные лестничные марши и площадки. И внизу – ни души, будто попрятались. Вышли во двор, сели в зашторенный автомобиль, поехали. Николай Иванович успел заметить, что его машины с помощником нет: то ли помощника арестовали тоже, то ли велели проваливать.

Ежова поместили в ту же самую камеру, в которой сидел перед смертью его предшественник на посту наркома внутренних дел Григорий Ягода. Вспомнилось посещение бывшего наркома в новогоднюю ночь, откровенный разговор. Теперь он сам бывший нарком, но навряд кто-то придет к нему, кроме следователей и надзирателей, навряд кто-то принесет ему бутылку водки и закуску, чтобы напиться в последний раз и... А что «и»? Сейчас бы горошину цианистого калия – вот и всё твоё «и»... И пропадай оно всё пропадом! Не запасся, не предусмотрел. А чего бы, казалось, проще...

Жаль, конечно...

А с другой стороны...

Нет, все-таки он пожил в свое удовольствие. Пусть не так долго, но зато, как говорится, с музыкой. И власть познал над людьми, и женщин, и мужчин, и поел всласть, и попил. Чего же еще? Вроде бы нечего, а все чего-то хочется, все мало. Прожитое познаешь, когда его теряешь. Если существует «тот свет», наверняка черный, то неужели лишь для того, чтобы вечно жалеть об этом, белом?

На первом же допросе Николая Ивановича Ежова избили до полусмерти. Собственно, допроса никакого и не было: его ни о чем не спрашивали, им не нужны были его показания, им нужно было его унижить, раздавить, растоптать. Его били и бросали ему в лицо все его преступления, явные и мнимые.

Били двое: следователи Черток и Пинзур, известные в чекистской среде садисты и душегубы. И откуда у жидов такая ненависть, такая нечеловеческая злоба? Сколько раз Николай Иванович сам присутствовал на допросах, – и у тех же Пинзура с Чертоком – и всякий раз поражался этой ненависти и злобе. За русскими он этого не замечал, хотя и среди них встречаются садисты и маньяки допросного дела, но ведут они его как-то тупо, механически. Жиды – полная противоположность. Будто мстят они за несбывшиеся библейские

надежды, которые разрушают всякий раз своими же руками то ли от жадности и презрения ко всему человечеству, то ли от неумной жажды власти. Не зря во всем мире к ним такое неприязненное отношение.

Выплывая из рта сгустки крови и выбитые зубы, Николай Иванович выплевывал вместе с ними и хриплые ругательства, в которые вкладывал всю свою ненависть и весь свой страх, скопившиеся в нем за последние годы. Побоев он уже не чувствовал, смерти не боялся. Даже наоборот: хотел, чтобы вот здесь и сейчас кто-нибудь из них потерял голову, и... Они это умеют: один удар в нужное место – и ты труп. Даже не пикнешь.

– Жаль, – хрипел Николай Иванович, вращая кровавыми белками, – жаль, что я... вас, суки жидовские, не... не прикончил... когда... когда был нар... наркомом. Надо было... ремней из вас... бя... бя... нарезать, что... чтобы и на том... на том свете... кор... корчились... подонки иудейские...

– Ах ты, падла фашистская! – вскрикнул Черток и с оттяжкой ударил Николая Ивановича резиновым шлангом по почкам. И еще раз, и еще.

От боли Николай Иванович взвыл и на несколько минут потерял сознание. Очнувшись в луже воды, долго мычал и пытался сесть, но так и не смог. Возя посиневшим лицом по скользкому от крови бетонному полу, снова принялся за свое, с хрипом выдавливая из себя нечто уже и не человеческое, а звериное.

– Оставь его, – брезгливо скривил холеное лицо Пинзур. – Не видишь, что он смерти ищет? А нам с него еще надо снять показания в организации заговора...

Николай Иванович что-то промычал, затем пошевелил рукой и выставил большой палец между указательным и средним.

– Ах ты, морда фашистская! – не выдержал такого над собой издеательства Черток и принялся подкованным каблуком дробить кисть руки лежащего на полу Ежова. – Вот тебе подонков иудейских! Вот тебе суки жидовские! Это ты лучших наших товарищей-большевиков поставил к стенке, это ты, собака, хотел вернуть на престол царя со всеми его князьями и графьями! Это ты продался Гитлеру и микадо...

Пинзур с трудом оттащил от вновь обеспамятевшего Ежова своего товарища. Черток хрипел, ругался на чем свет стоит, брызгал слюной, глаза его налились кровью, на остроном лице, искаженном ненавистью, выступил пот, и каждый мускул дергался отдельно от других.

Глава 2

В этот же вечер жена Николая Ивановича, Евгения Соломоновна, собрала в своей просторной квартире литературно-музыкальный салон. Певцы, музыканты, артисты, поэты, писатели. Только самые-самые и исключительно свои. Муж предупрежден о салоне, следовательно, не появится, чтобы не раздражать гостей своим бескультурьем и желчным видом. Впрочем, ему и без салона есть где и с кем провести время: секретарши, телефонистки и прочий сброд. После того как Николая Ивановича перевели с должности наркома внутренних дел в наркомы водного транспорта, он пустился во все тяжкие и только что баб домой не водит, а на стороне и у себя в наркомате устраивает такие оргии, что просто ужас. Евгении Соломоновне доносят, что муж ее и мальчиками не брезгует – вот до чего докатился.

Впрочем, для Евгении Соломоновны это давно не тайна. Да и живут они с Николаем Ивановичем с некоторых пор разными жизнями, ни в чем и нигде не пересекающимися. Даже спят в разных постелях и в разных комнатах: до такой степени дошла их нетерпимость друг к другу. А то он тут как-то заявил, что от нее, дескать, пахнет свинарником. Это надо же – свинарником! Сам бы себя понюхал, козел вонючий! Как был хамом, так им и остался. А сколько на его совести прекрасных людей, загубленных не за понюх табаку! Евгении Соломоновне нашептывают, будто за бывшим наркомом внутренних дел закрепились слава тайного антисемита. Ничего удивительного: ни он один. Давно известно: русские – все антисемиты. Исключительно по своей природной лени, глупости и зависти. Уж кто-кто, а Евгения Соломоновна знает это доподлинно: насмотрелась. И вся Большая чистка была направлена против евреев. Большой еврейский погром – вот что такое эта чистка. Случись подобное лет двадцать назад, сколько было бы шуму в газетах и по радио, демонстраций и митингов по всему миру. Из-за одного Бейлиса евреи всего мира на уши встали и многие правительства поставили. А совсем недавно евреи – и какие евреи! – гибли тысячами, и хоть бы тебе хрен по деревне, как выражается ее властительный супруг. Впрочем, уже не такой и властительный: наркомводтранс. Всего-навсего.

Но, слава Иегове, все теперь позади. Погибших, увы, не вернуть, а живые должны думать о живых. И о жизни. И пользоваться тем, что имеется. А имеется не так уж и мало. Грех жаловаться.

Салон удался. Прекрасно играли Ойстрах и Гилельс, недавно вернувшиеся лауреатами с международного конкурса музыкантов, пели Рейзен и Утесов, читали стихи Пастернак и Светлов, хохмили Бабель и Михоэлс. Сверкали глаза, лучились улыбки, пенилось шампанское. Здесь тоже ощущали некоторое послабление. С другой стороны, они и без послабления чувствовали себя прекрасно. Тем более что чистка их не коснулась, прошла стороной, задев разве что кого-то из близких, но близкие – это еще ничего не значит. Вообще говоря, дело не в родстве и не в крови, хотя, как говорится, довлеет. Но не так, как прежде. Тут главное – идея, заряженность на высокое. И не только на марксизм-ленинизм-сталинизм, но и на некие производные от этих исторических ценностей, осмысленные не до конца, как не до конца осмыслены жизнь и смерть, любовь и ненависть. Когда не до конца – оно даже и лучше: щекочет то с одной стороны, то с другой, и можно всегда сказать, что ты как бы и ни при чем.

Салон еще не закончился, а Бабель собрался уходить, сославшись на деловую встречу в театре Сатиры с главным его режиссером по поводу новой пьесы, отданной туда неделю назад.

– Пьеса актуальнейшая, – говорил Исаак Эммануилович, прощаясь с гостями. – Мне удалось в ней совместить политическую атмосферу современности сссс... я бы сказал, с веч-

ными проблемами человечества. Но премудрый Абрамчик этого не понимает. Хочу устроить ему маленький разнос и ткнуть носом в некоторые элементарные вещи.

Мужчины понимающе ухмылялись: этот Бабель свое не упустит; женщины заговорщицки переглядывались: Исаак явно нашел себе новую любовницу. Не то чтобы они не верили тому, что говорил Бабель, вовсе нет, но все давно привыкли, что правильные и правдивые слова всегда несут в себе еще некий тайный смысл, который понятен лишь посвященным.

Хозяйка салона проводила Бабеля до двери, заглянула в его насмешливые глаза своими блудливыми глазами, в которых затаилась тщательно скрываемая тоска женщины, уже не пользующейся спросом. Конечно, лицо ее увяло и покрылось предательскими морщинами, но таким оно было и год назад, и это никого не трогало. Между тем, стоило ее мужу потерять былой вес среди кремлевских небожителей – и все сразу же это почувствовали и сделали свои выводы. Теперь не всякого затянешь к себе на салон: отделяются занятостью и прочими причинами. А раньше, стоило лишь намекнуть, как в гостиной не протолкаться...

Евгении Соломоновне грустно: получается, что Бабель пользовался ее телом исключительно из меркантильных соображений. Как только Николая Ивановича сняли с наркомов внутренних дел, многие мужчины отошли в сторону – в основном из осторожности; а самые стойкие, хотя все еще оказывают ей знаки внимания, но более из вежливости и как бы на всякий случай.

– А ты знаешь, Исак... – говорит Евгения Соломоновна томным голосом, снимая с пальто Бабеля невидимую пушинку кокетливым движением полной руки, обнаженной до самой шеи. – Ты знаешь, Николая Ивановича Хозяин снова хочет назначить наркомом внутренних дел... – Она произносит это с уверенностью, будто назначение уже решено, хотя слова соскочили с языка сами собой, из одного желания удержать Бабеля возле себя. Заметив в его глазах недоверие, пояснила: – Его сегодня вызвали в Кремль, и я с минуты на минуту жду от него звонка... Только это сугубо между нами, – предупреждает Евгения Соломоновна, испуганно распахивая глаза. – Поговаривают, что Берия не справляется, что он уже наделал много глупостей, набирая в НКВД всяких дураков от станка и от сохи.

– Вот как? – Глаза Исаака Эммануиловича пытливо вглядываются в глаза женщины, но видят там все то же: неутоленное желание и надежду. – Я буду только рад за Николая Ивановича, – произносит Бабель вкрадчивым тоном, наклоняясь к руке хозяйки. И добавляет сквозь поцелуй: – И за тебя, дорогая, тоже. – Он поднимает голову, в глазах его искреннее сожаление, что приходится уходить, даже узнав такую новость. – Поверь, радость моя, – с горестным придыханием продолжает он, – я действительно должен разобраться сегодня с Абрамчиком. Ему, видишь ли, все некогда и некогда. Знаю я эти его некогда. Да и репертуар! Что это за репертуар? Все «Клоп» да «Баня», «Баня» да «Клоп»! Клоп, который давно не кусает, и баня, которая не моет! Нонсенс! Нужны свежие ветры! Требуется новое слово! Новые ракурсы! А послезавтра... послезавтра, моя прелестница, я снова у твоих ног.

Евгения Соломоновна целует Бабеля в щеку, вздыхает и возвращается в гостиную. Она довольна, что так ловко зацепила охладевшего к ней любовника. Но на душе у нее тревожно. «Ах, эти мне мужчины!»

Глава 3

«Ах, эти мне женщины! – весело и беспечно думает Бабель на ходу, наметанным взглядом выхватывая из текущей по улице толпы смазливые женские мордашки. – Пока муж был в силе, она одаривала мужчин своим расплывшимся телом, как королева одаривает нищих милостыней на церковной паперти; муж в опале – она сама превращается в нищую, согласную на объедки с чужого стола... Впрочем, чем черт не шутит: может, и в самом деле Сталин решил вернуть Ежова на прежнее место. Более решительного и более преданного человека он вряд ли найдет в своем окружении. А Берия... – с ним отношения как-то не складываются, хотя Берия – наполовину еврей, наполовину грузин. Вообще, в этом полукровке чего-то слишком, а чего-то явно не хватает. И весьма существенного... Надо будет завтра же с утра позвонить Соломоновне и узнать, чем кончилось посещение Кремля Николаем Ивановичем...» – подвел он черту своим веселым размышлениям.

Бабель был сыт и слегка навеселе.

Вечер получился, действительно, восхитительным. Компания подобралась изысканная, женщины – все, правда, в возрасте – как-то необыкновенно цвели и пахли, точно обрели на несколько часов вторую молодость, и сам он был сегодня по-особенному остроумен и красноречив. А что еще нужно человеку, чтобы чувствовать себя уверенным и... и почти счастливым? Да, пожалуй, именно так: счастливым! Ни-че-го! Но именно – почти. Потому что полного счастья нет. И не может быть. Все относительно. И что вчера казалось счастьем, и даже почти недостижимым счастьем, сегодня, когда оно достигнуто, превратилось в повторяющуюся обыденность, и ты уже оглядываешься по сторонам в поисках чего-то нового, неизведанного, запредельного. И дело не только в том, что ты – писатель, но более всего в том, что ты еще и человек: тебе нужны знаки внимания женщин и мужчин, тебе просто необходима уверенность, что тебя слушают, запоминают каждое твое слово, что завтра эти слова пойдут ходить по Москве, и весьма важные лица станут покачивать головами: «Ну, этот Бабель! – и какой же, однако, умница!»

Бабель взял случайно подвернувшегося извозчика, назвал Пушкинскую площадь. Но вышел, не доезжая до площади, возле бывшего Алексеевского магазина. Отпустив извозчика, постоял в раздумье перед тяжелыми резными дверьми, махнул беспечно рукой и пошагал вверх по улице Горького. Он шагал по улице, освещенной многочисленными фонарями, помахивал зонтиком и улыбался.

Бабель спешил на свидание, но не с главным режиссером театра Сатиры, а с одной из молоденьких актрис этого театра, с которой договорился накануне встретиться после спектакля и проводить ее домой. Юную провинциалочку так очаровали его искрометные пассажи, так потрясла одна только возможность стоять рядом и разговаривать с самим Бабелем, молва о котором растеклась по всей стране, что она готова на все, чтобы эту возможность не упустить и продолжить... Да что там! – она готова была на все еще раньше, как только встала на стезю лицедейства, на которой реальность значит меньше, чем представление об этой реальности, переложенная на условный язык театральных подмостков. Можно себе представить, что она ожидает от этой встречи, какие горизонты распахиваются в ее курином воображении! И пусть, и ради бога! Без этих глупеньких курочек жизнь была бы пресна и однообразна. Ведь для чего-то господь создает такие особи, и надо лишь не полениться и нагнуться, чтобы эта особь оказалась с тобой в одной постели. А там уж царствует твое воображение, твой опыт, твои способности.

Бабель взглянул на уличные часы и несколько убавил шаг: ни к чему приходить раньше времени и создавать у курочки ощущение ее над ним всевластия. Но цветы купить необходимо. А коробку конфет и бутылку шампанского – это потом. На таких девиц произво-

дит особенное впечатление, когда ты заходишь с нею в коммерческий магазин, досташь из кармана портмоне и небрежно выкладываешь на прилавок такие деньги, какие составляют трехмесячное жалование третьеразрядной актрисы. Особенно забавно в таких случаях наблюдать за выражением глаз этих курочек: сначала они вспыхивают изумлением, затем в них появляется страх, потом благодарность и готовность на любые жертвы. Как это здорово! Как бодрит тело и распаляет кровь! Почти так же, как подглядывание в далекой молодости за чужими любовными играми в доме свиданий милейшей тети Фимы.

Бабель пересек улицу и зашел в цветочный магазин, украшенный скромной вывеской «Живые цветы». Здесь на полках выставлены горшки с геранью, «кактусами и фикусками», а за прилавком сучает дородная дама пудов на шесть-семь, в больших очках и накладных бровях.

– Розалия Марковна! – восклицает он, раскидывая в стороны короткопалые руки и растягивая в сияющей улыбке толстогубый рот. – Ты таки все хорошеешь и хорошеешь! Право, я завидую Захару, что у него такая изумительная жена! Даже если бы в этом магазине не было ни единого цветка, а продавалась ржавая селедка, он все равно назывался бы цветочным!

– Ах, Исак! – расплылась Розалия Марковна в ответной улыбке на обрюзгшем лице, тяжело поднимаясь со стула и наваливаясь большой рыхлой грудью на прилавок. Голос ее, густой, как неразбавленная водой сметана, заполняет весь магазин: – Ты таки все такой же галантный кавалер, каким я помню тебе еще в Одессе! Таки я помню, как в самый первый раз, когда ты пришел до моего магазина, ты не мог уже оторвать свои глаз от моими грудями. И уже не ты один, не ты один, Исак. Таки я всегда открывала эту ложбинку как можно ширше, – говорит Розалия Марковна, кокетливо поводя глазами и расстегивая верхнюю пуговицу на своем крепедешиновом платье. – Мне таки было приятно, когда ее ошупывали взглядами и пускали слюны такие молокососы, каким тогда был ты, Исак. Таки я знаю, что все окрестные онанисты ходили в мой магазин, чтобы получить бесплатное вдохновение моим грудям. Правда, они таки тогда не были такими ужасно большим и рыхлым.

После этих слов Розалия Марковна вздыхает и вздыхает вполне искренне, затем вновь оживляется воспоминаниями:

– Вспомни, Исак, как тебе таки уже нравилось погружаться в них своим лицом. Вспомни, как тебя таки колотило желание забраться на меня верхом! Ты готов был сделать это прямо на прилавке. И даже на полу. Хах-ха! – заколыхались в утробном смехе жирные пуды Розалии Марковны. Затем глаза ее заволокло туманом, а магазин огласился горестным вздохом: – Ох-хо-хооо! Мне таки уже это тоже не просто давалось, Исак. Я покрывалась потом, еще немного – и готова была поддаться твоей страсти. Но как я могла уже изменить своему Захару! И хотя ты, известное дело, врешь, будто я все хорошею, но мне таки приятно. Женщине всегда приятно, когда ей врут, но врут складно и с чувством. – Розалия Марковна опять шумно вздыхает, вытирает измятым платком свой большой рот, и возвращается к действительности: – А ты никак уже завел себе новую курочку, Исак? Меня уже таки интересуется знать, это ее дебют или уже таки юбилей?

– Дебют! Именно дебют, несравненная Розалия Марковна! – восторженно восклицает Бабель, склоняясь к руке женщины.

– Тогда розы и только уже розы! И непременно красные, как кровь юной девственницы.

Розалия Марковна, неся на отлете облобызанную руку, уплыла в боковую дверь и скоро появилась с букетом из пяти больших красных роз и широким листом серой оберточной бумаги. Положив бумагу на прилавок, она ловко перетасовала розы таким образом, что их как бы стало вдвое больше, уложила букет на бумагу и свернула из нее длинный кулек.

При этом ни на секунду не закрывала своего большого рта:

– Ах, разве это уже торговля, Исак! Ты помнишь, какая у меня была торговля на Дерибасовской? И всё уже на виду, ни от кого не надо прятать! А розы! Разве это уже розы, Исак!

Это одно таки недоразумение, а не розы! Ты помнишь, какие уже розы были у меня в моем магазине? О-о! Это таки были настоящие розы! Греция, Болгария, Румыния, Крым – у каждого букета свой аромат, своя уже прелесть! Ко мне за цветами присылали из лучших домов Одессы! Со мной таки раскланивался сам Израиль Исулович! А мы бросили все и поехали в Москву... О чем мы уже думали, Исак? – всплеснула массивными руками Розалия Марковна и сама же ответила: – Мы таки думали уже, что здесь точно сможем поставить дело на широкую ногу. И что мы таки имеем? Мы уже имеем, что никакого дела нет! Разве для этого мы совершали революцию, Исак? Разве для этого добивались отмены всяких ограничений для бедных евреев? Мы таки имеем уже полный швах!

Бабель переминался с ноги на ногу, тревожно поглядывал по сторонам: эта чертова баба никогда не думает о том, что говорит. Над ее антисоветчиной потешался в свое время Ягода, потом Ежов, однако никто не тронул этот большой кусок мяса, потому что все ее слушатели наверняка думали примерно то же самое, что и несостоявшаяся миллионерша с Дерибасовской. Но теперь на Лубянке другие люди, они таки доберутся до цветочного магазина по улице Горького...

– Да не оглядывайся ты, Исак: здесь все равно никого уже нет! – басит Розалия Марковна. – В заведении тети Розы нет чужих ушей и глаз. Все, что здесь говорится, таки здесь и умирает. Ты лучше скажи мне, куда уже подевались все наши? Где милейший Авербах? Где Лева Кац? Где любезнейший Миша Фридлянд? Где Яша Блюмкин? Где милый Агранчик? Что там уже себе думает твой Сталин? Я не знаю, для кого берегу цветы в своей подсобке. Неужели таки для всех этих необрезанных гоев, неотесанных ивановых-петровых-сидоровых? Стоило ли ехать в Москву из нашей Одессы, чтобы ублажать всю эту рвань! Ах, Исаак, что уже происходит? – стонет Розалия Марковна. – В моем бедном уме уже все окончательно таки перепуталось.

Исаак Эммануилович лишь пожимал жирными плечами и жалко ухмылялся.

– Молчи, Исак, молчи! – воскликнула Розалия Марковна, вручая ему букет, точно Бабель действительно собирался что-то сказать по поводу ее слишком смелых речей. – Молчи! Я и так уже знаю, что ты думаешь. Ты таки уже думаешь: «Вот сумасшедшая баба!» Не отпирайся. Но я таки знаю, что ты со мной совершенно согласен, хотя ты знаменитый писатель и тебя знает сам кремлевский горец. Не надо мне ничего уже говорить, Исак. Глупая Роза с Дерибасовской видит человека наскрозь. Я вижу, что ты уже просто сгораешь от нетерпения оказаться под одеялом со своей новой курочкой. Ты большой уже шалунишка, Исак. Дай бог тебе удовольствий с новой курочкой. Удовольствия – это уже все, ради чего стоит-таки жить на этом свете.

Бабель вышел из магазина, неся с большой осторожностью кулек из серой бумаги. Он качал большелобой головой, а на лице его все еще блуждала жалкая ухмылка провинившегося школяра. Иногда ему кажется, а сегодня он почти в этом уверен, что Розалия Марковна служит в ГПУ, что ее антисоветские причитания есть чистая провокация, рассчитанная на простачков. Но, поразмыслив, он всякий раз приходит к выводу, что этого не может быть, что Марковна просто свихнулась на несбывшихся мечтах о своем миллионном деле. Да разве она одна! Сотни тысяч, если не миллионы. Но лично ему нет до них никакого дела. Лично у него дела идут как нельзя лучше: его писания нарасхват, уже есть несколько книг, готовится к печати полное собрание, совсем недавно... нет, не совсем недавно, но это не важно... звонил Сталин и спрашивал его, Бабеля, мнение о вышедшей тогда книге стихов Анны Ахматовой: не контрреволюционны ли ее стихи? И это был не первый такой звонок. Еще раньше Сталина интересовали то Шолохов, то Булгаков, то Мандельштам. И всегда Исаак Бабель говорил то, что думал: мол, талантливые, конечно, но творчество их не без недостатков. Иногда даже очень серьезных недостатков с точки зрения социалистического строительства. И Сталин всякий раз соглашался: «Ми тут тоже уже так думаем, товариш Бабель».

Только представить себе лет двадцать назад, что ему, Исааку Бабелю, еврею из Одессы, будет звонить домой... и кто? – сам Сталин! Это даже выше, чем царь Николай Второй. Вот если бы царь позвонил Исааку в шестнадцатом году, а еще лучше – лет на десять раньше, когда Исаак еще ничего не слышал об этом Сталине, тогда, быть может, не было бы и революций. Зачем еврею революции, если ему и без них неплохо? Многие евреи были против революций. Многим евреям было не так уж плохо до революции. Хотя царь им и не звонил. И Бабель тоже обошелся бы без революций, но поскольку царь не звонил и революции таки случились, то он не имеет ничего против революций: умный человек всегда и везде найдет свое место. Тем более умный еврей.

Рядом с тротуаром и чуть впереди притормозил черный лимузин, открылась дверца и знакомый голос окликнул Бабеля:

– Исак! Товарищ Бабель! Какими судьбами? Вы что здесь делаете? Куда путь держите? Батюшки! Никак с цветами? В такую-то поздноту!

Исаак Эммануилович остановился, взгляделся и узнал в капитане НКВД сына первого «президента» СССР (тогда еще РСФСР) Якова Свердлова, двадцативосьмилетнего Андрея Свердлова, очень милого человека и прекрасного товарища. Лицо Бабеля расплылось в радостной улыбке:

– Андрей! Рад тебя видеть! Забываешь старых друзей!

– Работа, Исак! Работа!

Свердлов выбрался из автомобиля, стройный, цветущий, хотя под глазами круги, а вокруг рта обозначились резкие морщины. Он остановился напротив Бабеля в почтительной позе. Бабель, сунув зонтик под мышку, великодушно протянул ему руку, потряс, еще раз повторил, что очень рад его видеть, но, к великому сожалению, временем не располагает: деловое свидание. Свердлов извинился, взялся за дверцу авто, но, спохватившись, обернулся:

– Исак! Совсем забыл! Ведь я чего ради остановился, увидев вас: книга у меня тут вот... – И он показал книгу карманного формата, обернутую в бумагу. – Понимаете, какая штука, – весело, со смешком, говорил Свердлов. – Книга без авторства, без выходных данных и даже без названия! Очень любопытная книжечка, доложу я вам. Мы уж гадали-гадали – нет: не можем понять, что за штука. Гляньте, пожалуйста, наметанным глазом, Исак! Очень вас прошу. Всего-то одну-две минуточки. Для вашего писательского глаза этого довольно, чтобы понять, кто мог эту книгу написать и кому она может принадлежать. А мы вас даже подвезем, куда скажете...

Свердлов протянул книгу Бабелю, потянул у него из-под мышки зонтик, из руки кулек с цветами:

– Давайте пока подержу.

Место оказалось не очень-то освещенным. Бабель глянул туда-сюда, ища более подходящего места, но места такого не находилось. Тут открылась задняя дверца авто, кто-то доброжелательно предложил:

– Да вы садитесь к нам, товарищ Бабель: здесь светло.

Бабель плюхнулся на сиденье, вздел на нос очки, раскрыл книгу на середине и обмер: он держал в руках «Майн кампф» Адольфа Гитлера, собственный экземпляр, с собственными пометками на полях.

– Что, узнали? – спросил Свердлов и гнусно хихикнул.

– К-как она кык вам поп-пала? – пролепетал Бабель, сильно заикаясь.

В тот же миг книгу у него из рук решительно и твердо вытащили, в дверце возникла черная фигура, поддела задом и плечом, втокнула в глубь машины – и писатель оказался зажатым между двумя очень плотными и жесткими телами. Авто всхрипнуло мотором и понесся по улице Горького вниз, в сторону Кремля.

– Андрей! Что это значит? – вскрикнул Бабель и не узнал своего голоса.

– Я тебе не Андрей, гнида фашистская! – воскликнул Свердлов петушиным голосом. Покрутил головой, точно шею его душил воротник гимнастерки, закончил более спокойно: – Это значит, гражданин Бабель, что вы арестованы.

– За что? – пролепетал гражданин Бабель, понимая, что вопрос бесполезен и даже глуп, но остановиться никак не мог: слова выскакивали из него помимо воли, в отупевшем мозгу билась лишь одна отчаянная мысль: «А как же роман о чекистах?» А ведь кто-то мудро советовал: «Пиши роман о Сталине. Алексей Толстой написал – никто его теперь и пальцем не тронет». А он, Бабель, лишь презрительно повел плечами... – Я ни в чем не виноват! – лепетал он. – Эта книга... мне дали ее почитать... Ведь я писатель, должен знать врага, его мысли... Я никому, никогда... Исключительно в целях познания... – И тут же приврал: – Мне только на прошлой неделе звонил сам товарищ Сталин... советовался... Вы не имеете права!

– Имеем, гнида сионистская! – прошипел Свердлов, обернувшись и глядя в лицо Бабея ненавидящими глазами. – Фашистам продался? Гитлеру служишь?

– О чем ты говоришь, Андрей? Какой Гитлер? Как я, еврей, могу служить Гитлеру? Это же ни с чем несообразно!

Но его уже никто не слушал.

Глава 4

В той же следственной камере, откуда с полчаса назад выволокли Ежова, теперь допрашивали Бабеля. Пол еще не высох после помывки, пахло мочой и кровью, но Бабель ничего этого не замечал. Он сидел на обыкновенном канцелярском стуле возле двухтумбового стола, светила настольная лампа под металлическим колпаком, освещая скуластое лицо молодого следователя, представившегося Алексеем Степановичем Солодовым. Солодов чин имел небольшой – всего лишь старшего сержанта госбезопасности, был вежлив и предупредителен. Перед обоими стояли стаканы с крепко заваренным чаем. Отпив глоток и склонив набок светло-русую голову, высунув от усердия кончик языка, Солодов скрипел пером, записывая ответы. Вопросы задавал по бумажке:

– А скажите, пожалуйста, Исаак Эммануилович, на сегодняшнем вечере в квартире наркома водного транспорта... э-э... товарища Ежова... никто не высказывал каких-либо антисоветских взглядов? Не делал никаких контрреволюционных намеков?

– Да что вы, Алексей Степанович! – вполне искренне возмутился Бабель, отставив пустой стакан в сторону. – Какие антисоветские высказывания! Какие намеки! Там присутствовали люди, искренне приверженные коммунистическим идеям, партии, рабочему классу и товарищу Сталину! Да и я, как член партии и штатный сотрудник госбезопасности, тотчас бы известил товарища Маклярского Михал Борисыча, который, как вам известно, курирует, так сказать, мир искусства по нашему ведомству. Если такое случалось, в смысле антисоветских высказываний и прочего, так я всегда выполнял свой партийный и чекистский долг. Вы можете справиться у товарища Маклярского.

– Хорошо, я записал, – кивал круглой головой Солодов и, шевеля губами, сперва прочитывал следующий вопрос про себя, потом повторял его вслух. Было заметно, что допрос – дело для сержанта Солодова новое, что он волнуется, боится ударить в грязь лицом перед известным писателем.

Через некоторое время, когда первый ужас, связанный с неожиданным арестом, с ничем необъяснимой грубостью и даже хамством Андрея Свердлова, с которым Бабель был на короткой ноге, с унижительным обыском в бетонной камере следственного изолятора, где он не раз бывал в качестве любопытствующего гостя, так вот, когда этот безмерный ужас несколько разжал свои железные когти, Исаак Эммануилович начал испытывать к этому белокрысому парню, неуклюжему и явно туповатому, чувство презрения, смешанного со снисходительностью, точно происходило это не на Лубянке, а, скажем, в Домлите, и перед ним сидел не следователь, а начинающий писатель из глубинки, с корявыми руками и речью, и лишь от одного Бабеля зависит, принять его в Союз писателей или не принять.

– А вот прошлый новый год вы встречали у товарища Ежова... Вы не помните, кто там был еще? – задал очередной вопрос Солодов и просительно глянул на Бабеля серыми глазами, в которых трудно было обнаружить, как показалось Исааку Эммануиловичу, хоть какую-нибудь самостоятельную мысль.

Вопрос был из ряда обычных, но Бабель почувствовал в нем подвох. Он, разумеется, помнил всех, но дело в том, что эти все хотя не арестованы и не сняты со своих постов, но кто поручится, что их не арестуют и не снимут? – а ему, Бабелю, могут приписать явные и тайные связи с врагами народа. Но, с другой стороны, а если вообще не арестуют и не снимут? Что тогда?

По спине Бабеля потек холодный пот. Но самое страшное – изощренный мозг его словно затянуло клейкой патокой, он не рождал ни единой мысли, даже самой ничтожной, а пульсировало в нем что-то вроде того, что все, пропал, конец и никакого выхода. Ужас вновь стиснул свои железные когти, глаза заволгло туманом.

– Я... – Бабель проглотил обильную слюну, вдруг заполнившую рот, схватил стакан, жестом, как глухонемой, показал, что хочет воды. Долго пил, стуча зубами о край стакана. В голове пронеслось: «Вот с этого и надо было начинать свой роман о чекистах», но мысль пронеслась и исчезла, как проносится мимо пуля, оставляя лишь звон в ушах и холод в испуганной душе. Вся штука в том, что люди, в шкуре которых он оказался теперь сам, его никогда раньше особенно не интересовали. Да и чего, в самом деле, в них могло быть интересного? Враг – он враг и есть. Он примитивен и скроен на одну колодку. Даже когда арестовывали его друзей, таких как Кольцова-Фридлянда, Горожанина, Агранова, Бокия, как... как того же Ягоду, с которым он даже делил одну и ту же любовницу, в его душе не проснулся этот самый интерес к людям, оказавшимся «по другую сторону баррикад». А ведь они действительно были его друзьями, и надо было бы задуматься, почему именно их и чем это грозит тебе. И мысли такие иногда возникали, но он гнал их прочь. Что толку от этих задумываний и от этих мыслей! Из них шубы не сошьешь. Даже рассказа не получится...

А Солодов смотрел на Исаака Эммануиловича своими светлыми невинными глазами и, похоже, переживал вместе со своим подследственным его душевные мучения. Даже губы старшего сержанта слегка шевелились, точно он пытался подсказать Бабелю ответ на свой вопрос, но не решался произнести его вслух. Вот точно так же шевелились губы равви Циглера, когда тот спрашивал урок у юного Исаака по истории древней Иудеи, или о скитаниях народа Израилева, а юный Исаак путался в трех соснах и никак не мог выбраться на правильную дорогу.

– Новый год? – Бабель с сожалением глянул на вновь опустевший стакан и поставил его на стол. – Там были... Вы знаете, Алексей Степанович, я что-то никак не могу вспомнить, кто там был. Все так неожиданно, так, я бы сказал, внезапно, что у меня в голове сплошная каша... Поверьте, я нисколько не желаю ввести в заблуждение следствие, более того... Да, кстати! – воскликнул он, вспомнив милейшую Розалию Марковну, встрепенулся на стуле, разогнулся, почувствовав вдруг что-то вроде воодушевления. – Перед тем как меня арестовывали, я покупал цветы в известном вам магазине «Живые цветы» на улице Горького. Так вот, там работает продавщицей Розалия Марковна Гинсбург, так она, представьте себе, убеждала меня, что советская власть – плохая власть, потому что, видите ли, не дает ей развернуться на манер буржуа. Она даже нехорошо отзывалась о товарище Сталине. Совершенно отвратительный тип классового врага!

Нервный всплеск красноречия поднял Исаака Эммануиловича на своем гребне и понес в дали неведомые... Во всяком случае, он сознавал, что должен говорить, что ему нельзя молчать, что он обязан произвести благоприятное впечатление на эту неотесанную деревенщину, потому что первое впечатление... тем более что протокол будут читать наверху, и все, что в нем будет написано, повлияет, так сказать, на дальнейшую судьбу его, и когда этот кошмар кончится, он таки засядет за роман, он теперь знает, с чего его начать – вот именно со стучания зубов о край граненого стакана... или, наоборот: края граненого стакана о зубы...

– Я от неожиданности и волнения как-то позабыл сказать об этом Андрюше Свердлову... Простите, товарищу капитану Свердлову... Мы с ним большие друзья, я помню его еще вот таким, – показал Бабель рукой чуть выше стола. – Время летит, летит время! Да-а... Так вот, вы имейте в виду эту Розалию Гинсбург. И вообще, поверьте мне, Алексей Степанович, я отлично понимаю, что вам необходимо дать четкую картину моего, так сказать, политического лица, выразить, как говорится, достаточно весомо идейные воззрения, а круг моих знакомств... – несло Исаака Эммануиловича по самой стремнине мутного потока все дальше и дальше от крутых скалистых берегов, на замшелых глыбах которых сидели орлы-стервятники, а в черных оврагах выли голодные волки. – Понимаете ли, я, как писатель, должен познавать жизнь во всех ее проявлениях, чтобы читатели могли поверить и понять достаточно полно, так сказать, на высоком уровне... внутреннее самоощущение и тех, кто за

советскую власть, и кто против. Тип Розалии Гинсбург я пытаюсь представить в своей новой пьесе, как тип приспособленца, готового продать советскую власть за чечевичную похлебку. Это очень опасный и живучий тип, должен вам сказать, Алексей Степанович, со всей ответственностью. Оч-чень опасный. В нем сосредоточена энергия прошлых эпох. Она...

За дверью слышались какие-то странные звуки. Бабель замер, прислушиваясь. Солодов напомнил:

– Продолжайте, прошу вас, гражданин Бабель.

– А? Ну да, конечно. То есть, простите, о чем это я?

– Об энергии прошлых эпох, – подсказал ему Солодов.

– Ну да! Ну да! Энергия прошлых эпох! Так вот, я и говорю: она, эта энергия, конечно, на издыхании, как верно учит нас товарищ Сталин, но не считаться с нею никак нельзя...

На лице Солодова Бабель прочел явный интерес, и это обрадовало его и подстегнуло. Гибельный восторг охватил его душу, и она затрепетала в железных когтях вселенского ужаса. Убедить, привлечь на свою сторону, приспособиться к более сильному и приспособить к себе слабого – он всю жизнь следовал этим неписаным правилам, вполне сознавая свое поведение и отдавая отчет каждому слову и поступку, разве что со временем слова и поступки стали как бы частью его самого, не требовали особых усилий и даже напряжения изощренного ума.

– Вот возьмите хотя бы писателя Михаила Шолохова! – воскликнул Исаак Эммануилович, воздев вверх руки жестом профессора литинститута. – Надеюсь, любезнейший мой Алексей Степанович, вы читали его романы... Да, так вот... У нас, кстати сказать, с Михал Александрычем сложились оч-чень хорошие товарищеские отношения, и он, когда бывает в Москве, обязательно, так сказать, общается со мной на предмет совета по литературным делам и прочее. Так вот, у Шолохова в его романах «Тихий Дон» и «Поднятая целина» показаны враги, и очень убедительно показаны, должен вам заметить, а некоторые товарищи даже считают, что показаны лучше, чем друзья, но это не значит, что он сам был в стане врагов, разделял их взгляды, а потом – все наоборот. Он изучал жизнь во всех, так сказать, ее проявлениях. Социалистический реализм – это, знаете ли... поэтому и приходится общаться иногда со всякими людьми, даже наперед подозревая их в измене и... и... а некоторые писатели в старые времена вступали даже в преступные сообщества, чтобы потом их описать, так сказать, из первых рук... Взять хотя бы того же Горького, Алексея Максимыча...

Поняв, что его занесло не в ту степь, Бабель вдруг увидел глаза парня – глаза светились насмешкой – и сразу же потух, съежился, пролепетал жалким голосом:

– Это я не для протокола... это я в порядке, так сказать, объяснения... начал писать о чекистах... задумал большой роман... э-э... трудная, но очень почетная профессия... А что касается нового года, так там, помнится, были товарищ Ежов с женой, два его заместителя по НКВД, тоже с женами...

– Фамилии заместителей не помните? – перебил Солодов, склоняясь над бумагой.

– Фамилии? Фамилии... – Бабель воздел очи к серому потолку, пожевал губами, будто вспоминая, неуверенно стал перечислять: – Кажется... кажется, были Берманы и Фриновские... Да-да, именно так! – поспешно подтвердил он, заметив недоуменный взгляд старшего сержанта.

– И больше никого?

– Еще? – Исаак Эммануилович наморщил лоб, потом звонко хлопнул по нему ладонью: – Совсем обеспамятовал! Как же, как же! Еще были Бельские. И пояснил: – Все живут в одном доме, все, так сказать, коллеги по работе и товарищи по убеждениям.

– Это интересно, – подбодрил Бабеля Солодов. – Не помните, о чем говорили?

– Как не помнить! То есть ничего такого, что заслуживало бы внимания. Или вы думаете, что если он враг народа, так об этом болтает всем и каждому? О! Эти люди хитры и

изворотливы. Они ни словом, ни намеком, ни даже взглядом не выдают своих истинных мыслей и желаний. Но товарищи, с которыми мне посчастливилось встречать новый год, все исключительно честные и преданные советской власти люди...

– Ну, почему же? – качнул русой головой Солодов и откинулся на спинку стула. – Враги народа – тоже ведь люди: им хочется иногда поделиться своими взглядами, завербовать себе сообщников. Один враг народа, например, говорил своей любовнице, что писатель Горький зря вернулся на родину, что лучше бы жил себе на Капри, и прожил бы дольше, и написал бы больше, и сын бы его не погиб... Другой враг народа говорил той же женщине и, заметьте, находясь с нею в той же самой постели, что ему это все надоело, что он бы все это взорвал к чертовой матери! Так что вы не правы, гражданин Бабель: очень даже болтают. Но, разумеется, не всегда и не каждому.

Исаак Эммануилович сидел ни жив, ни мертв: этот тупица, этот лапоть только что повторил его, Бабеля, собственные слова, сказанные им когда-то беспутной вдове погибшего при странных обстоятельствах сына Горького, Сашеньке Пешковой. А слова другого врага народа о том, что он хотел бы все ЭТО взорвать, принадлежали Генриху Ягоде, тогдашнему наркому внутренних дел, и узнал он, Бабель, об этих словах Генриха Григорьевича от самой же Сашеньки. И произнесены они были, между прочим, то ли в порыве откровения, то ли крайнего озлобления. Может, догадывался о том, чем все это закончится. И для него, Ягоды, тоже... Но боже мой! Сам-то он, Исаак Бабель, сам-то он! – зачем он-то был так откровенен с беспутной вдовой? Зачем он вообще путался с такими бабами! Ведь мог выбрать себе и получше, хотя и попроще. Нет, гордыня кидала его в объятия любвеобильных и весьма потасканных жен высоких советских чинов. Как же! И с этой я спал, и с той тоже, и даже – не поверите – с женой самого товарища Ежова. И вот к чему все это привело...

– Кстати, вы, насколько мне известно, дружны с наркомом водного транспорта Николаем Ивановичем Ежовым. Наверняка у вас были откровенные беседы. Не припомните что-нибудь заслуживающего внимания?

Исаак Эммануилович, еще не пришедший в себя, никак не мог сообразить, что хочет от него этот... этот тип. Если он хочет собрать на Ежова компромат, то есть если ему даны такие указания, значит Ежова ждет дальнейшее падение. Но Ежова вызвали в Кремль, если верить его супруге... и вдруг это правда, тогда, получается, его, Бабеля, затягивают в новую ловушку. И молчать нельзя, и говорить тоже. А этот... этот тип ждет, и каждая секунда промедления приближает что-то страшное.

– Николай Ив-ваныч... – начал Бабель заикаясь, не зная, куда заведет его путанная дорожка слов. – Он, Алексей Степаныч... мы с ним... в том смысле, что никогда ни о чем таком не говорили. Всегда больше о погоде, о театре, о книгах, о том о сем... Сами понимаете, человек он скрытный, на нем секреты государственной важности и все такое прочее. Я не помню, чтобы что-нибудь такое... Да-да, вот я пытаюсь вспомнить и ничего такого вспомнить не могу! – оживился он. – Честное слово! Нет, мы с ним ни разу не говорили о том, что бы заслуживало, так сказать, вашего внимания...

– А с его женой? Ведь вы с ней тоже были в близких отношениях... Не так ли?

– Да что вы! Ну был легкий флирт, сами понимаете: Николай Иванович – человек занятой, а ей скучно... ну так, ничего особенного... Вы ведь тоже мужчина и, как говорится, все мы грешны.

– Все да не все, – недобро усмехнулся Солодов. И новый вопрос: – А не припомните ли вы, кому принадлежат такие слова: «У товарища Ежова действительно ежовые рукавицы, но они совсем с другого ежа»?

– Н-нет, н-не п-помню, – снова начал заикаться Исаак Эммануилович. – Я не помню, кто говорил такие слова.

– А их и не говорили. Они написаны. И написаны вашей рукой. Как же это вы забыли? Ай-я-яй! И после этого вы утверждаете, гражданин Бабель, что вас арестовали по чистой случайности и недоразумению. Ошибаетесь, – дошел откуда-то издалека до сознания Исаака Эммануиловича голос старшего сержанта Солодова. И голос у лаптя был другим – жестким и даже властным, и вид сочувственника сменился на сугубо обвиняющий и, можно сказать, пренебрежительный.

Солодов доскрипел пером по бумаге, промокнул написанное, аккуратно сложил листки и подsunул их вконец оступевшему от свалившегося на него несчастья писателю.

– Прочтите и подпишите ваши показания, гражданин Бабель. На каждой странице. Здесь и вот здесь.

Но гражданин Бабель, не единожды присутствовавший на допросах и даже при пытках арестованных, испытывавший от всего этого какой-то необыкновенный прилив сил и ни с чем не сравнимое плотское наслаждение, тут вдруг тихо охнул, уронил голову на грудь, обмяк и сполз со стула на пол.

Солодов покачал круглой головой и вызвал дежурного надзирателя.

– Позови-ка доктора. Чегой-то этот интеллигент совсем скукожился.

– Кишка у них хлипкая, товарищ старший сержант, – со знанием дела засвидетельствовал надзиратель, склонившись над лежащим подследственным. – Как с других шкуру сдирать, так это они мастера, а как до их персоны дело коснется, так в омморок. Ничо, водичкой обрызнуть, вмиг очухается.

Набрал в рот воды из стакана и с шумом выпустил струю в лицо лежащему. Тот застыл и зашевелился.

– Я ж его и пальцем не тронул, – оправдывался Солодов. – Не велено было.

– Быва-ает. Вы у нас человек новый, еще обькнитесь, – посочувствовал надзиратель, усаживая очухавшегося подследственного на стул.

Глава 5

После полуночи, закончив дела, Сталин сунул ноги в сапоги, надел утепленную шинель, нахлобучил на голову шапку-ушанку – весенние ночи еще холодны – и вышел из дому. Постояв с минуту, прислушиваясь к тишине, он медленно пошагал по дорожке в дальний конец своей дачи. Сделав круг под замершими в безветрии деревьями, возвратился к дому и снова стал мерить неспешными шагами в свете звезд и кривобокой луны притаившееся безмолвие. На ходу, под тихие вздохи сосен, думалось легче, свободнее, виделось дальше и шире.

Недавно закончился XVIII-й съезд партии, который подвел итоги хозяйственного строительства, наметил перспективы, сделал выводы из Большой чистки. Это был самый спокойный съезд на памяти Сталина, самый деловой и конструктивный. Можно даже сказать, что это был съезд молодых партийных кадров, энергичных, преданных коммунизму и лично ему, Сталину, съезд будущего страны и партии.

Вглядываясь из президиума в новые лица, Сталин испытывал облегчение человека, который долго дышал вполсилы в замкнутом пространстве испорченным воздухом, и вот раздвинулись стены, открылись все окна, и можно вздохнуть глубоко и полной грудью – удивительное ощущение! – и Сталин наслаждался им, понимая в то же время, что все относительно: замкнутое пространство меньшего размера сменилось замкнутым пространством размера несколько большего, чистым воздух продержится в нем недолго, придется снова раздвигать пространство, чтобы не задохнуться, понадобятся новые люди, новые усилия, потому что большинство сидящих в зале уже наверняка считает, что заняли это место надолго, будут цепляться за него, место станет смыслом их жизни, – и все надо начинать сначала. И так раз за разом. Но когда-то же это должно кончиться, то есть с каждым разом положение должно улучшаться, помыслы людей становиться чище.

В такие редкие минуты тишины Сталин, сам того не замечая, впадал в романтизм и мечтательность, которые простирались в дали неведомые и рассыпались тотчас же от соприкосновения с действительностью. Да и длилось это состояние недолго: мысли тут же поворачивались на эту самую действительность, а в ней не оставалось места ничему, кроме жестокого прагматизма. Самое главное, чтобы крепко стояло на ногах государство, созданное им наперекор тем силам, которым именно такое государство не было нужно. Он победил эти силы, он переиграл их, усыпил их бдительность, разбил поодиночке. А они думали, что непобедимы, что будут существовать вечно. Наивные глупцы.

Если Сталин и вспоминал о тех, кто еще недавно заполнял Колонный зал Дома Союзов, с кем встречал семнадцатый год, вместе шагал по дорогам гражданской войны, то мимолетно, как о чем-то несущественном, само собою канувшем в прошлое, и не как об отдельных личностях, а как о чем-то темном и бесформенном, что потеряло даже определенное название. Теперь он весь был устремлен в будущее, поглощен настоящим – не до воспоминаний. Не упустить ни дня, ни часа из отпущенного Историей времени, – вот что больше всего занимало Сталина.

И уж, конечно, его не мучили угрызения совести по поводу преждевременно оборванных жизней, микробы жалости не разъедали его душу. Напротив, его переполняло ни с чем не сравнимое удовлетворение от хорошо подготовленной и проделанной работы. Наконец-то его, сидящего в президиуме съезда, не обволакивал мерцающий туман изучающих взглядов, таящих в себе скрытую опасность. Туман растаял, превратился в отдельные капли, затерявшиеся в море славянских и тюрко-монгольских лиц. Это была новая интеллигенция, созданная им, Сталиным, из рабочих и крестьян. Ленин хотел именно этого – и Сталин выполнил завет великого вождя. Отныне не стихия разноречивых интересов управляет движением кад-

ров, стихия, разрушившая Российскую империю, а насущная необходимость. Кадры решают все – но не всякие, а исключительно такие, которые нужны в определенное время, в определенном месте и в определенном количестве. Конечно, далеко не все вопросы новыми кадрами решаются быстро, но они все-таки решаются, потому что препон этим решениям после Большой чистки осталось не так уж много. Да и связана некоторая нерасторопность не столько с нерадивостью, некомпетентностью, злоупотреблениями, сколько с естественной неопытностью, несогласованностью в работе отдельных ведомств. Опыт придет, несогласованность можно устранить. Главное – внутри страны и партии порядок наведен. Не идеальный, конечно, но вполне приемлемый. И Коминтерн утихомирен и очищен от слишком ретивых голов, которым вынь да положь мировую революцию с пятницы на субботу, очищен от свары и разнобоя мнений и желаний. Каждый представитель той или иной зарубежной компартии считал себя гением, каждый убеждал, что вот еще немного поднажать – и власть в его стране окажется в руках рабочих. Дайте только деньги...

Особенно старались немцы во главе с Тельманом. Как же: самая мощная компартия среди капстран, самый организованный и сознательный рабочий класс, которому все по плечу. Фашисты во главе с Гитлером этим горе-коммунистам представлялись накипью, дунешь – слетит. Шапками закидаем. И где теперь Тельман? В тюрьме. Где компартия? В полном разгроме. Послушал дураков, а в результате и сам оказался в дураках же. Увы, Троцкий был прав, предупреждая о таком финале. Только при этом он во всех грехах винил товарища Сталина, а товарищ Сталин тут вовсе ни при чем: советчики у него оказались не самые лучшие, доверился их знанию местной обстановки, слишком громко галдели на все голоса.

Но, слава богу, теперь почти все свары остались позади: некому их устраивать. Остался лишь Троцкий и то немного, что он наплодил на Западе. Из его IV-го Интернационала ничего не вышло – чистый мираж. Он свое отыграл, пора на свалку. Заговаривается. Раньше считал, что товарищ Сталин имеет право расправиться с бюрократией точно так же, как расправился с кулачеством, а сегодня, когда товарищ Сталин именно это и сделал, кричит, что бюрократия во главе с главным бюрократом Сталиным расправилась с ленинской партийной гвардией и похоронила революционные завоевания рабочего класса СССР, призывает этот рабочий класс свергнуть товарища Сталина силой, пророчит новую Русскую революцию, но уже против бюрократии. А революция против бюрократии уже свершилась... сверху! Троцкий не понимает, не хочет понять, что сначала надо создать могучую державу, а уж потом вознаградить рабочий класс за все принесенные им на алтарь этой державы жертвы. Существует СССР – и только о нем должна болеть голова у всех, кто эту страну населяет, но более всего у тех, кто эту страну возглавляет. Еще не до жиру, быть бы живу.

Наконец-то страна приобретает ту необходимую монолитность, без которой невозможно вступать в смертельную схватку с сильными и жестокими врагами. Это уже не конгломерат местечковых кланов и групп, ничтожных вождей и вождишек, а единый народ, единая держава. Осталось подобрать мусор, набившийся в углы после чистки, внушить народу уверенность в завтрашнем дне – и никакие враги не смогут не только уничтожить эту державу, но и поколебать ее основы. Потом можно будет вернуться и к Мировой Революции, и к Всемирной Республике Советов, но лишь тогда, когда коренным образом изменится расстановка сил во всемирном масштабе в пользу коммунизма. И случится это только в результате новой мировой войны, к которой мир постепенно скатывается. Да она, собственно говоря, уже идет: Япония воюет в Китае, Италия в Африке; в Испании республиканское правительство доживает последние дни, сдавая одну позицию за другой под напором своей и международной реакции и лицемерного невмешательства западных демократий. Гитлер присоединил Австрию, оккупировал Чехию, позволил Польше оторвать от Чехии солидный кусок, давит на Варшаву, требуя расширения «Данцигского коридора», прибирает к рукам Румынию, Венгрию, Словакию, Болгарию. Все эти годы Запад потакал экспансии Гитлера, явно

толкая его на восток, с презрением отвергая все попытки Москвы объединиться против Германии. При этом цели Запада скрываются далеко не всегда: о них кричат газеты, разглагольствуют отдельные политики. Разглагольствования эти ведутся не на пустом месте, так тем более: поди знай, не провокация ли это, не хотят ли те или иные силы Запада столкнуть СССР с Германией и отвести ее удар от себя?

С одной стороны... С другой стороны...

Если западным демократиям удастся столкнуть Германию с СССР, а самим оказаться над схваткой, то не только СССР, но и России в ее нынешних границах придет конец. Допустить этого нельзя ни в коем случае. Вряд ли подобный исход борьбы предрешен и для Германии, однако зависимое положение ее не может устраивать Гитлера. Тут мы с ним союзники. Но для СССР было бы выгоднее, если бы Гитлер увяз на Западе. И это вполне реально, потому что именно там Версальским миром зарыт клубок противоречий западных держав. Не разрубив этот клубок, Гитлер не рискнет на войну с СССР. Следовательно, одно из двух: либо традиционный союз против Германии – тогда Гитлер не решится воевать на два фронта, либо нейтралитет и попытка столкнуть Германию с Англией и Францией. Но есть и третий путь – союз с Гитлером...

Вот и Троцкий постоянно талдычит в своих статьях, что в нынешних условиях, при нынешней расстановке сил на международной арене СССР в своей политике должен исходить исключительно из соображений целесообразности, и если эта целесообразность требует, может и должен пойти на временный союз с Гитлером. Не исключено, что Троцкий и на этот раз окажется прав, хотя голова у него болит вовсе не о благополучии СССР. Но Гитлер пока такой союз не предлагает, возможно, что он и не потребуется, но союза не предлагает и Запад. Однако в одиночестве оставаться нельзя: сожрут.

Сталин остановился и поднял голову вверх.

Небо глянуло на него мириадами светящихся глаз и полупрозрачным пятном Луны. Вспомнилась семинария в Гори, долгие часы молитв и такое же небо над головой – такое же равнодушное к беспокойным земным существам. Чего они тогда просили у бога? Милости. Как же, смилуется! Все приходится постигать самому и добиваться самому же...

А наркоминдел Литвинов слишком настроен против Германии. В нем еврей говорит больше, чем советский дипломат, точно в отношении Гитлера к евреям весь корень нынешних международных проблем. В решительную минуту может подвести. Надо менять...

Шуршит и шуршит песок под ногами...

Как-то Сталину показали хронику неформальной встречи дипломатов Лиги наций... Как это у них там называется? Раут, что ли? Впрочем, неважно. Важно другое, как они там себя ведут. А ведут они себя так, что не различишь, кто есть кто и откуда: непринужденные позы, улыбки, в руках бокалы с вином, жуют, разговаривают. И Литвинов между ними. Такое ощущение, что все они из одного гнезда. И только ли интересы своих стран они защищают? Менять необходимо Литвинова, менять. Тем более необходимо, если придется договариваться с немцами: для них еврей, что красная тряпка для быка...

А еще хорошо бы – небольшая война. Чтобы проверить боеготовность армии, ее способность воевать. Надо испытать в деле высший командный состав Красной армии после Большой чистки. На что способны, чему научились молодые комбриги, комкоры и командармы? Конфликт на озере Хасан с японцами в этом смысле мало что дал. Блюхер явно не годился для роли командующего, который должен был развернуться пошире и ударить по япошкам посильнее. Его не ограничивали. Так нет, от сих до сих. И не более того. Что это за война – десять дней? Так, пощекотать нервы.

К мысли о локальной войне Сталин возвращается не впервой. Но лишь в последнее время появились поводы для такой войны. Правда, поводы еще не всё, а в этом смысле приходится считаться с международным сообществом. Вот, например, Финляндия. Уж сколько

времени идут переговоры о том, чтобы финны согласились отодвинуть границу от Ленинграда за Карельский перешеек. Конечно, Финляндия – страна маленькая, для нее каждый квадратный километр на вес золота. Так ведь и не даром же: предлагается замена на севере и востоке и значительно по площади большая. Нет, ни в какую. А ведь Карельский перешеек некогда принадлежал России и был – по глупости – подарен Финляндии Александром Первым, когда Финляндия вошла в состав России. Выходит, подарить можно, а вернуть – шиш. Тут уже не здравым смыслом пахнет, а слепой ненавистью к Советской России, подогреваемой Западом. Теперь финны упорно строят «Линию Маннергейма», надеясь за нею отсидеться. Глупо. Придется воевать. Но война должна созреть.

Или взять япошек. За рекой Халхин-Гол, на восточной границе с Монголией, стягивают свои войска, к чему-то готовятся. Захватить Монголию? Зачем им Монголия с ее безводными пустынями? Уж не для того ли, чтобы подтянуть железную дорогу через северную часть Монголии поближе к Байкалу, чтобы потом отсечь – при благоприятных условиях – Сибирь от остальной России? Очень может быть. Но у СССР договор о взаимопомощи с Монгольской народной республикой, следовательно, япошкам придется иметь дело не только с монгольской армией, но и с армией СССР. На что рассчитывают? Проверить свою армию? Испытать силу армии СССР перед большой дракой? Не исключено. Что ж, если воевать, так воевать. Главное, чтобы и не опоздать, но и не поспешить. Как говаривал Ленин: «Сегодня рано, завтра будет поздно...»

Откуда-то издали донесся петушиный крик. Сталин остановился: давно он не слышал петушиного крика. Нет, в Маесте, где отдыхал прошлым летом, вроде бы кричали. Но это совсем не то. То есть, петух всегда петух, но обстановка...

Петушиный крик точно о чем-то предупредил Сталина, и он напряженно вслушивался в ночь, отогнув ухо своей шапки-ушанки. Однако крик не повторился, хотя и продолжал звучать в ушах, постепенно замирая, как зазвучит иногда ни с того ни с сего шум горного потока или плеск разбивающейся о берег волны – голоса далекого детства и юности...

Видать, слышалось...

Сталин свернул на дорожку к дому. Взошел на низкое крыльцо, взялся за ручку двери. И тут вновь до его слуха долетел петушиный крик, звонкий, как пролившаяся в оцинкованное ведро родниковая вода. Сталин удовлетворенно хмыкнул и открыл дверь.

Вспомнил: «Еще не прокричат третьи петухи, как вы предадите меня». Хорошо Христу было говорить так: знал, что никакое предательство, никакие казни не изменят его божественной сущности. А каково ему, Сталину, человеку смертному? Ждать, когда тебя распнут? Нет уж, увольте. А держава, она, как тот же человек, не вечна, может погибнуть, если ее не укреплять постоянно изнутри и не защищать от поползновений извне. Вечна лишь земля. Но одним людям все равно, кто главенствует на их земле, для других земля – это не просто поля, леса, реки и горы, это смысл жизни. Среди тех, кого он, Сталин, послал на Голгофу, было немало потомков Петра-отступника, которым все равно, за кем идти. Большинство из них переметнулись к большевикам после революции исключительно потому, что это стало выгодно. И не революции они присягали, а Троцкому, Зиновьеву, Бухарину. Среди них не было Христа. Одни торговцы да разбойники. Мелкие душонки. Их гибель ничего не решала. Зато решала их жизнь, которая поражала народ гнилью предательства и равнодушия к своей судьбе, к своей родине...

Да, вот еще что: надо будет сказать киношникам, чтобы сняли фильмы о Суворове, Кутузове... О ком еще? Ушакове, Нахимове, Дмитрие Донском... Фильм об Александре Невском приняли хорошо. Вообще, побольше фильмов на тему русского патриотизма. Книг и радиопередач. Героями должны стать радетели о родной земле и государстве, их защитники. На русских – вся надежда...

В доме натоплено. Сталин повесил шинель на вешалку у входа, шапку положил на полку, снял сапоги и сунул ноги в теплые домашние шлепанцы. Перед зеркалом расчесал волосы, провел щеткой по усам, направился в спальню, но возле двери в нерешительности остановился, прислушался. Он знал: там – женщина, он сам велел привезти ее к себе: весна виновата, тело томится, отвлекает от работы. На сей раз работа пересилила, захватили мысли, женщина ужинала одна, может, уже спит. Войти, разбудить?

Станет потягиваться, капризничать. Желание ее тела исчезнет, будешь чувствовать себя униженным – к черту!

Сталин вернулся в кабинет, остановился напротив большой карты СССР с прилегающими к нему странами, долго разглядывал сперва Карельский перешеек, затем вытянутый в глубь китайской территории желтоватый аппендикс почти сплошь коричневой Монголии. Аппендикс похож на ногу, ступня ее надрезана тонкой линией реки Халхин-Гол.

Ворошилов рассказывал: голая степь, река, камыш, редкий кустарник, еще более редкие деревья, холмы. У япошек там тысяч двадцать-тридцать, наша ударная группировка вдвое меньше. Обороняться – куда ни шло, наступать – нечего и думать. Дорог нет, до советской границы сотни верст, а у японцев железная дорога под боком. И резервы тоже. Однако Ворошилов считает, что можно какое-то время сдерживать японские войска, если они осмелятся наступать, затем подбросить подкрепления и ударить. Что ж, может быть. Но лучше, если япошки увязнут в нашей обороне, начнут подтягивать свежие силы, чтобы не дивизия на дивизию, но армия на армию. Вот тогда и посмотрим...

Сталин погасил верхний свет, оставив лишь настольную лампу, лег на диван не раздеваясь, укрылся пледом. Еще какое-то время в голове бродили мысли о том, о сем, затем мысли стали рваться, вместо них возникла какая-то река, на горизонте холмы, и будто диван стоит на берегу этой реки, а на диване он, Сталин. И никого вокруг. Вдруг зашуршали камыши, из них появилась погибшая семь лет назад жена, но еще юная, семнадцатилетняя. На ней знакомая ночная рубашка, облегающая стройное тело. Рельефно топорщатся сквозь тонкую ткань острые соски, выпирает лобок. Остановилась невдалеке, в руке револьвер, покачала головой, тихо произнесла: «Совсем ты одичал, Иосиф, спишь бог знает где и на чем. – Вздохнула, поманила пальцем: – Ну, иди ко мне. Иди же, не бойся!». Он встал, ноги слушались плохо, колени подгибались, ступни выворачивало. А Надя повернулась и пошла в камыши, и даже не в камыши, а поверху, и все уходила и уходила, невесомая, воздушная, едва касаясь желтых метелок босыми ногами, и растаяла в багровом свете зари. Лишь голос ее продолжал звучать у него в ушах: «Ну, иди же! Иди ко мне, Ио-о-оси-иф!»

Сталин проснулся, повернулся на спину: томление вернулось с видением жены. А в соседней комнате спит женщина... Он встал, сунул ноги в тапочки, через боковую дверь в кабинете прошел в спальню. В спальне горел слабенький ночник, смутные силуэты прорисовывались из мрака. Ему не нужен был свет: он знал здесь все наизусть, мог выйти в любую точку с завязанными глазами.

Разделся в углу, слыша, как заворочалась в постели женщина. Пошел на ее сонное дыхание, видя перед собой огромные серо-зеленые глаза, всегда изумленные и будто бы о чем-то спрашивающие. Из сна вернулся голос жены: «Иди ко мне, Ио-о-оси-иф!» Откинул одеяло и, хмелея от парного женского тепла, навалился, зарываясь лицом в мягкую грудь, живот, бедра, погружаясь в это живое и трепетное тепло всем своим истосковавшимся существом...

Глава 6

Сталин спит на спине, храпит с привсхлипом, иногда замирает, точно ему зажали рот и нос, но пауза коротка, сквозь неведомую преграду, образовавшуюся где-то в горле, прорывается воздух и звучно проникает в легкие. Сталин мучительно стонет, женщина просыпается, толкает его локтем, он поворачивается на бок и затихает.

Женщина открывает глаза, некоторое время смотрит прямо перед собой. Спать уже не хочется, хотя легла поздно: ждала, когда Иосиф освободится от своих дел. У него на уме одни только дела, даже ради женщины он не может поступиться ни единой минутой, вот и жди его, пока соизволит выкроить время между делом и сном.

Сталину скоро шестьдесят один год (или уже шестьдесят один, или даже больше – разное говорят о его возрасте), но он еще ничего, и если забыть на мгновение, сколько лет человеку, который пыхтит и елозит своим телом по твоему телу, а представлять себе одного из своих молодых и сильных любовников, то можно даже получить некоторое удовольствие от этого старческого елозенья и пыхтения. А иначе надо делать вид, что ты это удовольствие получаешь именно от него, надо самой пыхтеть, стонать и подпрыгивать на постели. Впрочем, женщине эти хитрости даются без особого труда, и она давно уже не отличает себя действительную от придуманной, свои естественные чувства от искусственных. Она получает удовлетворение не столько от совокупления с этим стариком, сколько от своей игры, способности перевоплощаться, но еще более оттого, что старик этот не простой, а как бы державный. «Державный старик» – это она сама придумала и очень гордится своей придумкой, но знают об этой придумке очень немногие. А еще она уверена, что никто, даже сам Сталин, не способен различать ее многоликую сущность, принимая ее всю целиком и не разделяя на части.

Но однажды, лежа в постели и глядя, как она раздевается, медленно освобождая свое тело от одежд, дразня и наслаждаясь его нетерпением, Сталин спросил:

– Послушай, Кира, почему бы тебе нэ пайты в актрысы? А? Из тэбя вышла бы хорошая актрыса. Прыма.

Кира сверкнула зелеными глазами, весело хохотнула:

– Ах, Иосиф! Меня вполне устраивает быть актрисой в самой жизни. Это даже интереснее, чем на сцене. Здесь неизмеримо выше острота ощущений. Если на сцене тебя могут освистать... впрочем, сейчас это не принято, – поправились она. – Ну, похлопают меньше, или вообще не станут хлопать, то в жизни за плохо исполненную роль можно поплатиться жизнью. Разве я не права? Ведь ты тоже не идешь почему-то в артисты, хотя и тебя талантом лицедея бог не обидел.

Сталин покшекал: эта баба не только дьявольски красива, но и чертовски умна. Конечно, могла бы и попридержаться свой острый язычок, но почему-то ее шпильки, хотя и смущают иногда Сталина и ставят в тупик, вместе с тем и доставляют удовольствие: так тонко и без особой нужды ему еще никто льстить не решался. Вернее: никто не умеет. Даже у покойного Паукера лесть была слишком откровенной и почти похабной. И вся остальная лесть, которая проливается на него со всех сторон мутным потоком, уже не доставляет ни наслаждения, ни удовлетворения, становясь как бы непременным условием его власти над людьми и обстоятельствами. А в лести Киры есть что-то возвышающее, делающее тебя более сильным и уверенным. Даже значительно моложе своих лет. Впрочем, это может исходить и от его собственного о ней представления, от той неожиданной страсти, которую эта женщина в нем пробудила.

Трудно поверить, что он, Сталин, как мужчина, доставляет ей плотское наслаждение – не настолько он наивен. Но Кира так мастерски это наслаждение изображает, что и сам начи-

наешь верить в его реальность. Как там у Пушкина? «Меня обманывать... э-э... не трудно, я сам обманываться рад...» – что-то в этом роде. Все мы иногда способны и готовы обманываться. Даже гении. Но беспросветно глуп тот, кто, обманываясь в любви, готов обманываться и в политике. Так что пусть женщина играет. Ее дерзость бодрит и возбуждает не менее ее красоты. Лишь бы все это не выходило за пределы этой спальни.

Кира не слышит внутренних монологов своего любовника, зато она хорошо чувствует этого человека и понимает, что он должен испытывать и по отношению к ее телу, и к ней самой как к личности, и делает все, чтобы не унизить его мужское достоинство и достоинство вождя. До сих пор в своей игре она не переступала ту невидимую грань, которую установило их несопоставимое в высшем московском обществе положение. Труднее удержаться на этой грани за пределами дачи и кремлевских стен, где каждый знает о каждом все, если не больше, а о ней ходят такие сплетни, что уши вянут, и все ждут от нее чего-то безумного, в каждом взгляде она видит это ожидание, питаемое болезненным любопытством и завистью, каждый хочет использовать ее в своих целях, не брезгуя ничем. И трудно удержаться, чтобы не дать понять, что ты покоряешь это общество не только своей красотой и умом, но и той близостью к Вождю, к Хозяину, которая недоступна другим. Никто не поверит, что она не собирается использовать эту близость в каких-то далеко идущих целях, каждый ищет эти ее цели и строит свои догадки. А она просто живет. Живет на всю катушку, на всю свою женскую красоту и молодость. Осталось-то совсем немного – лет пять, от силы – десять.

Выскользнув из-под одеяла и встав на ноги, Кира поднимает вверх руки, выворачивая переплетенные длинные пальцы, тянется, извиваясь всем своим великолепным телом. Затем подходит к большому зеркалу. Из полумрака на нее смотрит голая женщина лет тридцати, красивая, стройная; топорщатся груди, как у девственницы, хотя она уже рожала, таинственно мерцают зеленоватые глаза. Женщина самодовольно улыбается, поворачивается то одним боком, то другим, кокетливо поводит глазами, клонит головку, обрамленную черными локонами. Подумать только – с самим Иосифом Сталиным! Даже и не мечтала. А чтобы этот старый осел еще и влюбился в нее без памяти, так это сверх всяких фантазий. И не мешает ему, что она дочь царского генерала от контрразведки, расстрелянного большевиками еще в восемнадцатом году, что была женой купца-иудея. А уж куда какой идейный – вождь пролетариев всех стран! На фото глянешь – дрожь берет. А в постели – старый пердун и ничего больше.

Впрочем, это не столь уж и важно, старый он или не очень. Разве в этом дело! Подумать только: в России сто восемьдесят миллионов человек, из них большая часть – женщины, но только она, Кира Кулик, может лечь в постель Сталина, ощупывать его несимметричное тело, ощущать на себе его дыхание, густо настоящее на табаке, чувствовать, как его усы щекочут ее грудь, когда он берет губами сосок, как проникает в нее... Да бог с ним, что он старик! Он – Сталин! И она – его любовница! Одно это не может не возбуждать. А вы... всякие там пролетарочки и прочие – вы смотрите на его портреты и думаете, что он бог, и выше бога, и молитесь на него, и даже в мыслях не держите, что он обыкновенный смертный, что его можно, будь у нее желание, вот сейчас, сию минуту, стукнуть по голове чем-нибудь тяжелым – и нет Сталина...

Кира обежала глазами спальню, но не нашла ничего, чем можно было бы стукнуть – даже графина с водой здесь нет и никаких безделушек. Она задорно потрянула кудряшками: ну, не стукнуть, так можно задушить подушкой, воткнуть в горло маникюрные ножницы... и не пикнул бы, и не сопротивлялся бы: у него такие слабые руки, такая дряблая кожа, он и ходит-то еле-еле, а как садится или встает, так жалко смотреть...

Кира хохотнула про себя и подумала: вот бы он услышал ее мысли. Даже удивительно, как он доверчив. Ему кажется, что он неприкасаем, защищен своим положением и тем страхом, какое его положение всем внушает. А ей вот – ну ни вот столечко не страшно. И потому,

что ни душить, ни резать она его не собирается, и потому еще, что ей нравится быть любовницей такого человека.

Говорят, что Сталин по-азиатски жесток и мстителен, что он предал революцию и уничтожил старую гвардию большевиков, которая не хотела склониться перед ним и признать его неограниченное верховенство над всеми, что он антисемит, но умело прикрывает свой антисемитизм антитроцкизмом. Ее это не касается. Какое ей дело до революции и революционеров! Какое ей дело до жидов! Пусть бы он их всех перевешал, как котят. По отношению к ней он не проявляет ни жестокости, ни даже грубости. Да, Сталин не воспитан, он хам из хамов у этой хамской власти, он по-хамски выдернул ее из ее жизни, в которой ему не было места, усладил ее мужа в командировку, приволок к себе, заставил лечь в свою постель, пользуется ее телом. Но он умен – и это сглаживает недостатки его воспитания и его хамство. Что касается революции, то лично у нее, Киры Симонич, революция отняла все: отца, возможность блистать при дворе российского императора и европейских монархов, ввергла в нищету, из которой пришлось долго и упорно выкарабкиваться – вплоть до того, что идти замуж за престарелого, но богатого непмана-иудея.

Да, она блистает и здесь, среди партийного быдла, среди бывших мужиков, поповских детей, семинаристов, недоучившихся студентов, лавочников, тайных христиан, исламистов и иудеев, как и отрекшихся от всякой веры, среди бывших масонов и каторжников, военных и ученых, артистов и писателей. Она блистает, но ей-то хочется блистать не только здесь, в Москве, но и в Париже, Лондоне, Вене. Слышали бы они, какое у нее парижское произношение, как хорошо она говорит по-немецки и по-английски. Но не для того гувернантки из этих стран учили ее языкам, чтобы она протирала юбку в какой-нибудь советской конторе, переводя на русский скучнейшие бюрократические бумажки. Революция отняла у нее блестящую судьбу, дала ей другую. Так уж вышло. Но... за неимением гербовой пишут на простой, за неимением бриллиантов носят их стеклянное подобие. Надо и от этой судьбы взять все, что она ей сулит. И не ей становиться мстительницей за всех свергнутых и низвергнутых. Она не Шарлота Корде, а Сталин не Марат, хотя, быть может, и пострашнее Марата.

А как завидуют ей бабы, которые крутятся вокруг этих властных пирамид, отдаваясь то одному, то другому сталинскому клевету, то поднимаясь по ступеням вверх своего грехопадения, то сверзаясь до самого дна – до какого-нибудь личного телохранителя или шофера, – как стараются иные из них вырваться из этого заколдованного круга туда, где, как им кажется, полная воля и раскованность. Увы, мухам, попавшим между двумя оконными рамами, суждено там и засохнуть, так и не дождавшись весны. А она, Кира Симонич, дочь царского генерала и бывшая жена иудея Шапиро, нынешняя жена командарма Кулика, поднималась все вверх и вверх, и вот стоит на самом верху и может поплевывать вниз на кого угодно – и ничего ей не будет...

Потянувшись, Кира вернулась к постели, вскользя глянула на спящего Сталина, брезгливая гримаса искривила ее прекрасное холеное лицо. Она взяла халат, накинула на плечи и, не застегнувшись, вышла из спальни и направилась в ванную комнату. Молодой охранник, торчащий в коридоре неподалеку от спальни, молча проводил ее завистливыми глазами: за ночьку с такой бабой он отдал бы все, что угодно. Жаль, что отдавать, кроме своей жизни, ему нечего.

Глава 7

Сталин встал в двенадцать. Киры уже не было: отвезли домой. Чтобы у нее не возникли дома недоразумения, он приказал наркому обороны Ворошилову отправить ее мужа, начальника артиллерии Красной армии командарма первого ранга Григория Ивановича Кулика, в командировку. Может, Ворошилов и знал, зачем это нужно Сталину, или догадывался, но приказ выполнил безоговорочно. Да и сам приказ был плотно упакован в одежды крайней необходимости.

– Мне звонил Мехлис из Приволжского округа, – говорил Сталин, недовольно косясь на верного своего клеветника, – что там, в артиллерийском управлении, творится черт знает что. Пошли Кулика в округ сегодня же. Пусть разберется. Но не более чем на пять дней: он мне понадобится двадцать шестого. Я думаю, пяти дней ему хватит, чтобы разобраться.

– Хорошо, Коба, я пошлю. Сегодня же и пошлю, – с готовностью согласился Ворошилов, даже не спросив, что же такое там, в Приволжском военном округе, творится. Он отвык спрашивать, он привык повиноваться.

Все эти пять дней Кира Кулик по вечерам появлялась на даче Сталина, иногда ужинала вместе с ним, иногда без него, без него же ложилась в постель и боролась со сном, читая какой-нибудь французский или английский роман. Романы эти ей привозили из Парижа и Лондона или присылали с дипломатической почтой очередные поклонники, ищущие в ней покровительницу. Она носила романы с собой, читала обычно в постели, и не только в сталинской, представляя себя то при дворе короля Людовика XIV, то императора Наполеона, то спутницей какого-нибудь английского Георга или Ричарда. Ах, как бы она там развернулась! А тут – ничего кроме постели...

День Сталина начался, как обычно. Какое-то время в нем держалось ощущение праздника, подаренного этой удивительной женщиной, затем ощущение притупилось, уступив место озабоченности, но все-таки оно, это ощущение, жило в нем и действовало.

Оно живет и действует с того самого дня, как он впервые увидел Киру Кулик на одном из приемов в Кремле. Он увидел ее и тут же почувствовал, что больше ни на кого ему смотреть не хочется – только на нее. Он с трудом сдерживал это свое желание, ощущал Киру даже спиной, выделял из всех голосов ее голос, а под конец приема не выдержал, подошел и стал что-то говорить – что-то глупое и пошлое.

Кира стояла в окружении других женщин, многие из которых, как и она сама, видели Сталина так близко впервые, и женщины смотрели на него во все глаза, а она... она смеялась. Единственная из всех. Она смеялась заразительно и беспечно, но не оскорбительно. Он сам понимал, что говорит именно глупое и пошлое, однако ничего поделать с собой не мог и, лишь заметив вдруг чей-то через чур откровенно любопытный взгляд, оборвал себя, повернулся, пошел, никого не видя и не слыша.

Сталин и до встречи с Кирой слыхивал от Ворошилова, а потом и от Мехлиса, что Кулик развелся с первой женой и женился на какой-то необыкновенной красавице. Ворошилов об этом говорил с завистью, Мехлис – с презрением и негодованием. Он же доложил, что у этой красавицы не совсем пролетарское... или лучше сказать – совсем не пролетарское происхождение, но пока никаких порочащих ее высказываний в адрес советской власти или действий против оной не замечено, кроме многочисленных поклонников и не столь многочисленных любовников. И сам же Мехлис признал, что красивой женщине вряд ли это можно поставить в вину. Впрочем, уточнил он, выйдя за Кулика, она вроде бы прониклась добродетельностью и, хотя по-прежнему сияет и сверкает среди московской богемы, однако

мужа своего чтит, даже иногда ездит с ним в командировки, а из любовников у нее осталось всего человека два-три.

– Откуда ты все это знаешь? – спросил Сталин, вприщур глядя на Мехлиса, столь основательная осведомленность которого казалась подозрительной, хотя еще в те поры, когда Мехлис был одним из нескольких секретарей Сталина, он знал не только интимную жизнь тогдашних вождей РСФСР, и Сталина в том числе, но и способствовал тому, чтобы Сталин мог этими знаниями пользоваться в политической борьбе.

– Как начальник политуправления Красной армии я обязан следить не только за общим морально-политическим состоянием армии, – заговорил Мехлис ровным металлическим голосом, не отводя преданного взгляда от лица Сталина, – но более всего – ее высшего командного состава. А жены высших командиров есть неотъемлемая часть этого командного состава.

Впрочем, Сталин не придавал сообщениям Мехлиса и Ворошилова никакого значения: менять жен считалось модным, женами даже обменивались. Иногда – вместе с детьми. И трагедий из этого не делали. А еще женились на молоденьких третьим или пятым браком. Даже на школьницах. И это тоже считалось в порядке вещей.

И вот Сталин увидел Киру и понял, что такой женщины еще не встречал. В ней было что-то демоническое, притягивающее помимо воли и желаний. Более того, на какое-то время его воля и желания сосредоточились исключительно на ней, отвергая все остальное. Но в целом эта женщина завладела лишь желаниями Сталина. Если бы не его железная воля и обстоятельства, которые сильнее всех и всяких увлечений, то есть если бы на его месте был другой человек, то неизвестно, чем бы все это кончилось. Но желание получить эту женщину стало неотвязным, и Сталин приказал послушному Власику доставить Киру Кулик на дачу. И с первого же взгляда на нее один на один, с первых же слов ее понял, что их желания совпали.

До восьми вечера Сталин работал: читал бумаги, принимал людей, но никого не распекал, никому не делал выговоры, был чуток, внимателен, выслушивал каждого, давая высказаться, кого-то поддерживал, кого-то урезонивал, ссылаясь на обстоятельства, и даже снисходил до объяснения этих обстоятельств. Он мог бы продлить этот праздник своей души, отправив Кулика из Москвы не на пять дней, а на десять, на месяц и более, но боялся, что праздник от частого повторения опошлится и перестанет быть праздником. А то, чему предстоит совершиться сегодня, это не праздник, это мероприятие, то есть та же работа. Конечно, в ней, в этой работе, есть некая интрига, игра, которая увлекает не хуже красивой женщины, и все-таки это работа, а праздник – это Кира с ее восхитительным по красоте лицом, с ее огромными глазами колдуньи, излучающими тревожащий зеленый свет, с ее великолепным телом, которым бы только любоваться и любоваться, лишь иногда дотрагиваясь до него, чтобы убедиться, что это реальность, а не наваждение, но от которого трудно оторваться, когда оно захватит тебя целиком, превратит в зверя, готового вцепиться в глотку любому, кто посмеет только взглянуть на него со стороны...

Глава 8

После майских праздников Сталин, прихватив с собой наркома обороны Ворошилова, начальника Главного политуправления Красной армии Мехлиса, наркома внутренних дел Берия и несколько наркомов оборонной промышленности, поехал на артиллерийский полигон, расположенный неподалеку от Наро-Фоминска: Ворошилов все приставал и приставал, чтобы Сталин посмотрел наконец на те новые артиллерийские орудия, которые создали конструкторы, но которые еще не включены в серийное производство. И не только посмотрел, но и оценил. Сталин понимал, что Ворошилов хочет подстраховаться на тот случай, если эти системы окажутся никудышными или, в лучшем случае, не оправдают возлагавшиеся на них надежды, как не оправдали себя многобашенные танки или быстроходные танки со съёмными гусеницами. Еще Ворошилову хотелось показать, что он, нарком обороны, занимается делом, а не только стреляет из нагана и волочит за молоденькими балеринами. Наконец, и самому Сталину пора было разобраться в тех склоках, которые вдруг стали расти вокруг новых вооружений, захватывая в свои орбиты конструкторов, наркомов, Генштаб, директоров заводов и местные партийные власти. Вот тебе и новые кадры! Кадры-то новые, а повадки старые. Следовательно, надо действительно разобраться и решить, кому пряник, а кому кнут.

Выехали во второй половине дня спецпоездом с Киевского вокзала. В четырех бронированных вагонах все заинтересованные лица – не менее полусотни человек. Не считая охраны. Время от времени в вагон к Сталину, где помимо него находились Ворошилов, Мехлис и Берия, вызывали конструкторов артсистем, и они на чертежах и схемах рассказывали и показывали, что из себя представляют эти системы, чем они отличаются от старых отечественных и современных зарубежных.

Сталин не выспался, чувствовал недомогание, его выводило из себя косноязычие большинства конструкторов, особенно молодых, точно русский язык не был их родным языком, раздражали их плохо скрываемый страх и ученическая робость перед строгими экзаменаторами. Он старался скрыть свое раздражение, слушал объяснения молча, вопросы задавал благожелательным тоном. Но это не помогало. Конструкторы словно бы и сами не знали параметры своих конструкций, терялись, иногда на простенький вопрос несли сплошную окопесицу. Между тем Сталин все больше увлекался разворачивающимися перед ним проблемами и задачами, в совокупности которых он пытался отыскать некий стержень, скрепляющий все здание артиллерии, начиная от разработки, кончая производством новых артиллерийских систем. Но более всего его занимали новые люди, пришедшие на смену тем, кого поглотила Большая чистка: насколько они образованны, свободны от старых догм и привычек.

Его интересовало буквально все: дальность стрельбы орудий, начальная скорость снаряда, его вес, вес самого орудия, соотношение между основными величинами: сроком эксплуатации в боевых условиях, количеством обслуживающих артиллеристов, способа транспортировки, временем приведения орудия в боевую готовность, скорострельностью, технологией промышленного производства – и все это в сравнении с зарубежными образцами... Он пытался понять, сколько типов орудий нужно для войны в современных условиях, нельзя ли сократить их количество, объединить в одном типе орудия несколько функций... Вчера он кое-что прочитал на эту тему, и раньше читал тоже, но не столь подробно и основательно. Сегодня ему придется быть третейским судьей, нельзя ошибиться. Но большинство конструкторов путались в ответах, то ли не зная этих ответов, то ли боясь подвести свое начальство.

– Черт знает что такое! – проворчал Сталин, когда за очередным главным конструктором закрылась дверь. – И где вы только берете таких недотеп? Если они не могут связно выразить свои мысли, то как оказалось, что они сумели убедить вас в своей профессиональной пригодности? Что вообще, Клим, делается в вашем приходе? Почему ты сам ни черта не знаешь этих людей? Ведь с их пушками тебе воевать!

– Говорить они, конечно, не шибко горазды, но конструктора хорошие, – оправдывался Ворошилов.

– Я не требую от них ораторского искусства! – повысил голос Сталин. – Я требую от них понимания задач и умения эти задачи изложить четко и убедительно...

Сталин встал, прошелся вдоль стола. Спросил:

– Сколько их там еще?

– Один остался, – ответил Ворошилов.

– Кто такой?

– Главный конструктор противотанковых орудий Грабин.

– И что?

Ворошилов пожал плечами.

– Хороший конструктор, грамотный. Не шибко молодой, однако... А пушка у него в общем и целом...

– Может, конструктор он и хороший, – раздался скрипучий голос Мехлиса, – но в политическом плане у него не все ладно.

Сталин глянул на Мехлиса, хмыкнул:

– Ты, Мехлис, в каждом человеке пытаешься отыскать одни недостатки. А конструктора – это люди как бы не от мира сего: у них на уме одни чертежи да схемы, всякие там расчеты. – Сталин сел, положил на стол руки, вперился взглядом своих табачных глаз в начальника Главного политического управления Красной армии, повысил голос. – Что я, не вижу, что ли, что вы их всех застращали: слово лишнее боятся произнести. Вы мне это бросьте! Хватит! Большая чистка закончилась. Меня не интересует, что у него в политическом плане: он на членство в ЦК партии не претендует. Меня интересует, что он из себя представляет как конструктор. Кстати сказать, Лаврентий, – Сталин поворотился к Берии, – у тебя в лагерях полно инженеров и конструкторов. Лес валят. Землю копают. Всех собери и распредели по конструкторским и проектным бюро. Пусть занимаются делом. А то получается так: по золоту ходим, а нагнуться и поднять – лень.

– Прикажете амнистировать? – блеснул стеклами пенсне Берия.

– Кого амнистировать, кого держать в закрытом режиме... Давайте вашего противотанкиста.

Вошел человек лет сорока, среднего роста, в больших очках. Остановился в дверях.

– Проходите, товарищ Грабин, – пригласил Сталин, показывая рукой на стул в конце стола. – Садитесь.

– Спасибо, товарищ Сталин, – произнес Грабин, сел, положил перед собой папку с бумагами.

– Охарактеризуйте кратко свое орудие.

Грабин вскочил, заговорил несколько резковатым голосом, четко отделяя слова друг от друга:

– Дальность стрельбы прямой наводкой до тысячи метров. Пробивная способность снаряда двести миллиметров броневого стали. Сектор стрельбы – шестьдесят градусов, калибр семьдесят шесть и два десятых миллиметра, транспортировка конная и механическая. Орудие может использоваться в качестве башенного для средних танков...

Сталин задал несколько вопросов, удовлетворенно кивая на каждый ответ головой. Грабин так же четко, будто диктовал текст машинистке, ответил на все вопросы.

– Спасибо, товарищ Грабин, – поблагодарил Сталин. И добавил: – Вы хорошо знаете свое дело. Я думаю, ваше орудие пригодится Красной армии в самом ближайшем будущем.

– Я тоже на это надеюсь, товарищ Сталин, – произнес Грабин.

– Вот это другое дело! – кивнул Сталин в сторону двери, за которой скрылся Грабин. – Теперь я понимаю, почему морщится нарком обороны: с таким товарищем работать не просто. Это верно. Зато польза от него вдесятеро большая, чем от десяти угодников.

Никто ничего на это не сказал.

Поезд, замедляя ход, повизгивал тормозами. За окном потянулись неказистые домишки какой-то деревушки, зеленеющие поля. По полю лошадь тащила борону, мужик в красной рубашке навыпуск погонял ее длинной хворостиной. То же самое в свое время делали отец этого мужика, дед и прадед. Трактор сюда придет еще не скоро: сталь, необходимая для трактора, люди, необходимые для его производства, и деньги, чтобы это все оплачивать, используются для делания пушек и танков. Жестокая необходимость...

Поезд остановился на маленьком полустанке, дальше поехали на машинах. Щебенчатая дорога, как видно, только что подправленная, с еще свежими кучами гравия по сторонам, тянулась по лесу, лоснилась многочисленными лужами после недавней грозы. Гроза ушла на восток, светило солнце, лес словно плыл куда-то в дымке испарений.

Полигон открылся неожиданно: деревья вдруг раздвинулись в обе стороны, и взору Сталина предстала холмистая местность, по которой, казалось, прошел пьяный пахарь гигантским плугом, разворотил поле, не пробороновал, не бросил ни зерна, плюнул и пошел дальше. И вот это поле зарастает сорняком, кустарником, крошится на куски глубокими оврагами.

Едва заглохли моторы машин и перестали хлопать дверцы, установилась вдруг такая тишина, что стало слышно, как на разные птичьи голоса звучит опушка леса, заливается над крышей приземистого здания скворец, издалека доносится голос кукушки, стучат колеса, идущего вдаль поезда. Потом где-то в стороне прозвучала громкая команда и замерла на длинном звуке «о-ооо!»

Масса людей, стеснившаяся позади Сталина, глухо гудела сдержанными голосами. Начальник Главного артиллерийского управления Красной армии командарм первого ранга Григорий Иванович Кулик, высокий и широкий одновременно, с круглой обритой головой и кисточкой усов под носом, подбежал тяжелой рысью, доложил Сталину, что новые артсистемы готовы к осмотру. Он стоял в одиночестве перед толпой военных и штатских, выгибал широкую грудь, украшенную орденами, смотрел поверх головы Сталина, ожидая его решения.

– Ну что ж, – тихо произнес Сталин, едва взглянув на человека, с красавицей женой которого провел ни одну ночь у себя на даче в Кунцево. – Показывайте, товарищ Кулик, свое хозяйство. – И первым пошагал вслед за начальником артиллерии.

Пушки выстроились в ряд под широким деревянным навесом. Сосновые столбы и стропила еще пахли смолой, светились свежей древесиной. Запах смолы мешался с запахами машинного масла и пороха. Далеко из ряда выпирали стволы противотанковых и дальнобойных орудий, тяжело нависали, раскинув по сторонам массивные станины, гаубицы. Было что-то торжественное и величественное в этом параде обработанной и соответствующим образом организованной стали, которая могла бы стать трактором, комбайном, плугом. В черные дыры стволов заглядывать не хотелось, ноги сами торопились пронести мимо.

Снова Сталин слушал пояснения конструкторов, не довольствуясь объяснениями начальника артиллерии. На этот раз они и говорили не так, как в поезде, и вели себя более свободно и даже увлеченно. Он заставлял спорить между собой приверженцев разных конструкций одних и тех же систем, пытался уловить суть. Конструктора не охаивали друг

друга, придерживаясь некоего этикета, они лишь выпячивали преимущества своих пушек, надеясь, что начальство разберется.

«Хотя бы один из них сказал: „Да, моя пушка хуже, я сам отдаю предпочтение конструкции своего конкурента“, – думал Сталин, слушая пояснения. – Нет, никто ни словом, ни полсловом не обмолвился, все стоят горой за свое детище...»

Сталин все реже и реже задавал вопросы. Он уже пришел к выводу, что конкуренция вещь хотя и полезная, но имеет свои рациональные границы. Ему вспомнилась притча про разборчивую невесту, которая хотела от каждого жениха взять самое лучшее и из этого лучшего слепить одного... Что ж, если желание невесты невыполнимо, то это не значит, что оно невыполнимо вообще. Надо взять от одного орудия дальность, от другого скорострельность, от третьего технологичность заводского производства. И так совместить эти качества, чтобы они дополняли и усиливали друг друга.

Слишком много конструкторских бюро вредно. Нужно по тому или иному направлению иметь не более трех. А сегодня, когда время сжимается все сильнее под воздействием быстро меняющихся международных обстоятельств, надо все силы сосредоточить на чем-то одном.

Грабин, казавшийся столь убедительным в поезде, здесь, рядом со своей длинноствольной пушкой, убедительность потерял. Кулик первым высказался против такой противотанковой пушки:

– Ни у нас, ни даже у немцев нет таких танков с такой броней, чтобы требовалась пушка такой мощности и бронебойности, – говорил он солидным басом. – Вместо такой пушки можно сделать две сорокопятки. И пороха потребуется меньше, и артиллеристам пупки не надрывать. А сколько надо перекопать земли, чтобы установить ее на боевую позицию? Горы! Такая пушка если и понадобится, то лет через двадцать.

– Не через двадцать, а завтра, завтра она понадобится! – в отчаянии воскликнул Грабин и тут же прикусил губу под испытующим взглядом Сталина.

Сталину, между тем, пушка нравилась: в ней сочеталось изящество произведения искусства с завершенностью формы, предназначенной исключительно для практических целей. Но, действительно, приходится считать каждую тонну чугуна и стали, каждый пуд меди, каждый килограмм пороха... Кстати, Ворошилов говорил о новом танке, у которого толщина брони превышает все известные образцы. Но сам же Ворошилов считает, что такие танки нам пока не нужны. Однако если у нас конструктора придумали такие танки, то они могут быть придуманы и у наших противников. Надо выяснить, в каком направлении движется танкостроение, а уж потом принимать решение и по противотанковым пушкам. Сталину казалось, что Грабин этот более прав, чем Кулик. И он обронил, будто между прочим:

– Ничего, товарищ Грабин, и до вашей пушки дойдет очередь. И даже скорее, чем кое-кто думает.

Когда осмотрели последнее орудие, Кулик предложил попристутствовать при стрельбах, но Сталин отказался.

– Пусть другие смотрят, – сказал он. – И пусть все хорошенько продумают все, что здесь было сказано. Завтра... Нет, через два дня – выводы на расширенное заседание Политбюро. Там и решим.

Повернулся и пошел к машине.

Все стояли и в растерянности смотрели ему вслед. Никто не знал, что делать: спешить вслед за Сталиным на поезд? оставаться смотреть стрельбы? писать выводы?

Но едва Сталин уселся в машину, как все кинулись к своим машинам, захлопали дверцы, зафырчали моторы, кортеж потянулся на лесную дорогу, а еще через полчаса поезд вез всех назад, в Москву.

Глава 9

В довольно просторном кабинете своего вагона Сталин переоделся в легкий серый френч, велел Поскребышеву позвать Молотова и Ворошилова. Указав черенком трубки на диван, спросил:

– Ну, что вы думаете?

– М-мне к-кажется, – начал осторожно Вячеслав Михайлович Молотов, – что все пушки имеют свои достоинства и свои недостатки. Какие из этих достоинств выше, какие ниже, решить с кондачка затруднительно. Я полагаю, что когда в Совнаркоме появятся окончательные выводы...

– А ты, Клим?

– Я думаю, что если брать противотанковую артиллерию, то предпочтение надо отдать тридцати семи и сорока пяти миллиметровым калибрам...

– Ясно, – остановил Сталин наркома обороны. – Если бы у тебя имелось продуманное решение, не пришлось бы сегодня собирать такую толпу. Толпой ничего не решишь. А решить надо так: ко лбу Ивана Ивановича надо приставить нос Петра Севастьяновича, глаза Никиты Степановича, подбородок... ну и так далее. Надо немедленно объединить все конструкторские бюро в два-три. Пусть каждое принесет с собой самое лучшее – это и будет решение проблемы. Кстати, точно так же надо сделать и с другими бюро: по самолетам, по танкам. Иначе мы захлебнемся в море запасных частей, распылим средства. Нужны базовые модели вооружения. Я давно тебе говорил об этом, Клим. А ты все тянешь, все никак не раскачаешься. Чтобы через месяц вся работа по объединению КБ была завершена. А то мне жалуются, что какой-то новый танк у нас твои кавалеристы не хотят даже пускать в пробную серию. Что за танк? Кто конструктор? Где его можно посмотреть?

Ворошилов встал, обиженно передернул плечами.

– Танк среднего класса, конструктор Кошкин... из Харькова. Этот танк еще Тухачевский пытался протолкнуть. Но у нас уже есть и средние танки, и тяжелые, и легкие. Мы едва наладили производство, а конструкторам только дай волю, так они каждый год будут придумывать новые модели. Нам нужно усовершенствовать то, что есть...

– Мысль не может стоять на месте, – точно самому себе произнес Сталин.

– Я ведь не инженер, Коба. Я – солдат.

– Ты, прежде всего, нарком обороны. Следовательно, должен четко представлять себе, какое оружие нужно Красной армии. Видеть перспективу. Ко всему прочему, ты бывший слесарь. Следовательно, должен знать, что и как делать на производстве! – вдруг вспыхнул Сталин. – А нам надо думать именно об этом: как в кратчайшие сроки наладить серийное производство новейших разработок. Чтобы не отстать от немцев. А у тебя танк, броню которого, как мне пишут, не пробивают пушки, никак не может получить зеленый свет... Иди, слесарь, думай. Послезавтра скажешь, что ты придумал.

Когда за Ворошиловым закрылась дверь, Сталин сел на диван, занялся своей трубкой. Проворчал:

– Один не пускает танк, броню которого не пробивают пушки, другой не пускает пушки, способные пробить эту броню. – И с презрением бросил: – Им бы все шашками махать да на коне красоваться...

Вячеслав Михайлович молчал, смотрел в окно, за которым мелькали деревеньки, зеленющие поля, одевающийся листвою лес. Он знал, что все эти споры касаются и его, но лишь в той степени, когда речь пойдет о производстве, металле, финансировании. Пока военные спорят, вмешиваться нет смысла. Когда Сталин решит, что надо пускать в производство, тогда наступит его, предсовнаркома Молотова, время, и он свое слово скажет.

– Теперь с тобой, Вече, – заговорил Сталин, несколько раз пыхнув дымом. – Бери на себя наркомат иностранных дел. Летвинов не справляется. Пошли его послом... скажем, в Америку. Но пусть формально остается твоим замом. Разберись с тамошними кадрами. Кое-кого мы вычистили, но, думаю, не всех. Остались последыши Троцкого: от кого-то же он получает информацию. – Сталин помолчал, посмотрел в бесстрастное лицо Молотова, продолжил: – Наркоминделу нужна новая кровь, нужны новые люди. С завтрашнего дня и приступай. Решение Политбюро завтрашним же днем и оформим.

– А как с моим председательством?

– Потянешь и председательство. Я тебя знаю. Пока неким тебя заменить. Там видно будет.

Отпустив Молотова, Сталин вызвал Берия.

– Рассказывай, как там у тебя с Ежовым?

– Отпирается от всего, – обиженно заговорил Берия, точно Ежов обещал ему что-то, но обещания не выполнил. – Говорит, что никаких заговоров не устраивал, что по части чистки никакого своеволия не допускал, выполнял указания ЦК и решения съезда партии...

– Не могли заставить его говорить правду? – Сталин искоса глянул на Берия, занятый трубкой.

– Над ним работали Черток с Пинзуром. Они и мертвого заставят говорить, но Ежов стоит на своем: нет и нет.

– Жить хочет, – негромко произнес Сталин. – Ладно, оставь его в покое. А то твои чертоки из него дурачка сделают. А нам он нужен для суда. И вообще спешить с Ежовым не надо: пусть все успокоится, придет в норму. Мы теперь на новом этапе, нам лишние потрясения не нужны. Кстати, чертоков твоих, этих мясников... – Сталин пошевелил в воздухе пальцами, пояснил: – Они свое дело сделали.

– Я провожу кардинальную замену следственного аппарата, – склонил Берия прилизанную голову.

– Я слышал, у тебя какая-то Сонька Золотая Ножка мужикам половые органы отбивает... Это правда?

– От Ягоды осталась. Но я ее уже уволил из органов.

– Нам теперь пора переходить к законности и нормальному судопроизводству, – тихо произнес Сталин.

Берия сощурил недоверчиво глаза, но тут же спрятал их за бликами стекол пенсне.

В помещение вошел Ворошилов, остановился в дверях.

– Что-нибудь стряслось? – спросил Сталин, раскуривая погасшую трубку.

– Срочная радиграмма из Монголии, товарищ Сталин, – ответил Ворошилов и приблизился к столу.

– Читай.

– Сегодня утром японские войска численностью более тридцати тысяч человек атаковали наши позиции в районе реки Халхин-Гол с применением артиллерии, авиации и бронетехники. Бои развернулись на фронте около пятидесяти километров. Жду ваших указаний. Командарм первого ранга Штерн.

– На чье имя телеграмма? – спросил Сталин.

– На мое и твое, Коба, – произнес Ворошилов, и Сталин увидел, как беспокойно моргают его глаза.

– Штерн – он, что, в Монголии?

– Нет, он в Чите. Телеграмма из Читы.

– А кто командует нашими войсками в Монголии?

– Комбриг Фикленко.

– Что это за человек?

- Лично я не знаю, что это за человек. Но Штерн за него ручается.
- Штерн ручается, а нарком не знает. Что же ты за нарком, если не знаешь своих людей. Тем более, если они командуют такими ответственными участками...
- До сих пор этот участок ответственным не считался.
- Пошли туда кого-нибудь из людей, кого ты знаешь, на кого можешь положиться.
- Предлагаю Кулика, – тут же откликнулся Ворошилов.
- Кулика так Кулика, – согласился Сталин. – И пусть Штерн тоже там присутствует... если ты его хорошо знаешь.
- Штерна я знаю: он ответственный и грамотный военачальник.
- Вот и пусть они там надают япошкам по первое число. А ты контролируй. И докладывай обо всем, что там происходит, – жестко закончил Сталин и махнул рукой, отпуская и Берию и Ворошилова.

Глава 10

Василий Мануйлов вышел из проходной вместе с Димкой Ерофеевым. Димка торопился в институт, впереди у него выпускные экзамены, защита дипломного проекта. Димке есть куда спешить, и Василий подстраивался под его широкий шаг, слушал торопливые Димкины слова:

– Понимаешь, какая штука, корпус мотора из алюминия почти вдвое легче, чем из чугуна, а по прочности даже превосходит чугунный. Для авиации это огромная выгода. Там каждый грамм на учете. Но и для танка тоже. За счет мотора можно усилить броню, поставить более мощную пушку...

– Так-то оно так, – вяло возражал Василий, – но у алюминия коэффициент объемного расширения значительно больше, чем у чугуна, а при наших морозах неминуемы перенапряжения на отдельных участках. В результате трещины, разрыв материала. К тому же для сохранения однородности массы надо будет и все остальные детали делать из алюминия: кольца, пальцы, клапана, а это нереально.

– Реально, – не сдавался Димка. – Надо лишь подобрать такие присадки, чтобы выровнять коэффициенты...

Василий вспомнил, что на своем последнем занятии на рабфаке он выступал с рефератом по литью алюминиевых сплавов. Как давно это было. Если бы не выгнали, уже с год как работал бы инженером. Не повезло... А вот Димке повезло, а он и в тюрьме сидел, и в лагере, и даже участвовал в побеге. После этого и думай, есть судьба или нету, и почему она у одних такая, а у других совсем иная, хотя все исходные данные одинаковы или близки по параметрам. Может, у него, у Василия, твердости характера нет или еще чего? Может, ему драться надо за свою судьбу, не жалея ни кулаков, ни самой жизни? Вон Димка: тащил охранника на себе несколько дней по горячей тайге, в результате вновь стал хозяином своей судьбы. А посмотришь – ничего особенного. Да и на кого ни взгляни, все – ничего особенного, и он, Василий Мануйлов, тоже. Особенное – оно внутри, его не сразу и разглядишь.

Что-то продолжал говорить Димка, Василий не слушал, поглощенный своими мыслями.

Забренчал и заверещал колесами на повороте трамвай, Василий поднял голову... и увидел Вику.

Вика стояла возле доски объявлений. На ней знакомый голубой берет, светлый плащ и короткие ботики, сумочка из соломки под цвет плаща висела на плече, в руках зонтик. От неожиданности Василий замедлил шаг, глянул на Димку, Димка на него.

– Ты чего? – спросил Димка и оглянулся по сторонам, отыскивая то, что так подействовало на приятеля.

– Ты иди, – отмахнулся Василий. – А то в институт опоздаешь.

– Не опоздаю, – откликнулся Димка и зарысил к трамвайной остановке.

Уже стоя на площадке вагона, он, через головы пассажиров, успел заметить, как Василий подошел к какой-то девице и остановился перед ней, и девица шагнула к нему и даже положила ему на плечо руку. Трамвай стал заворачивать, и Димка потерял Василия из виду.

– Что-нибудь случилось? – спросил Василий у Вики, с тревогой вглядываясь в ее слегка прищуренные близорукие глаза цвета перезрелой вишни.

– Случилось, – ответила Вика и пояснила с обычной для нее решительностью и неумением ходить вокруг да около: – Папу переводят в Москву. В наркомат.

Василий почувствовал, что во рту у него пересохло. Он облизал губы, беспомощно скользнул взглядом в сторону: он знал давно, а сейчас в глазах Вики разглядел особенно отчетливо, что она ждет от него каких-то решений, более того, знал, что не просто каких-то,

а вполне определенных, но сегодня был готов к этим решениям даже меньше, чем полгода назад.

– Ну и что? Это ведь его переводят, а не тебя, – произнес он после долгого молчания, понимая, что говорит совсем не то, что ждет от него Вика.

– Если я не поеду с ними, мне негде будет жить, – тихо ответила Вика напряженным голосом и тронула носком ботика лежащую на тротуаре веточку липы с уже раскрывшимися почками.

– А твой брат? – выдавил из себя Василий, лишь бы не молчать, злясь и на себя, и на Вику, что ему приходится выкручиваться, говорить ненужные слова.

– Ему уже выделили квартиру. Но там для меня нет места, – все более равнодушным и холодным голосом отвечала Вика, глядя себе под ноги.

Василий ничего на это не сказал, опустил глаза, смотрел, как Вика передвигает по асфальту веточку липы носком своего ботика. Он чувствовал себя страшно усталым и опустошенным.

Вика обиженно передернула плечами, повернулась и пошла в сторону Невы. Василий побрел следом. На него навалилось что-то тяжелое и душное. Лишиться Вики – это не вмещалось в его сознание, вместе с тем он понимал, что вечно их связь в таком неопределенном состоянии продолжаться не может, хотя эта связь стараниями Вики все более обустривалась и принимала регулярный характер.

В последнее время они встречались два раза в неделю, в одно и то же время в маленькой комнатке ее подруги на Васильевском острове. Подруга жила у своего мужа, не расписываясь с ним, чтобы не потерять жилплощадь: видно, не была уверена, что их отношения прочны и позволяют рассчитывать на будущее. Василий привык к этим встречам, он находил, что большего ему пока и не требуется, зная, что Вике этого мало. И вот перед ним выбор: или он лишается Вики навсегда, или оставляет Марию с их детьми. Внутренне он давно знал, что выбор свой сделал в пользу Марии, но и Вику терять не хотелось: она была единственным светлым пятном в его жизни, он отдыхал с ней душою, весь мир переставал существовать для него в ее объятиях, и он уверял себя, что и Вика чувствует то же самое. Возможно, она и чувствовала то же самое в его объятиях, но объятия, увы, длятся недолго, и едва разъединялись их тела, как жизнь вторгалась в их сознание помимо их воли со всеми своими углами, шипами и прочими ненужностями. И вот она вторглась с такой ненужностью, которую Василий сам разрешить не в состоянии. Это совсем не то, что с Натальей Александровной – собрался и уехал: у нее своя жизнь, у него своя, и никто ни за ее подол, ни за его штаны не тянет. А здесь три жизни... нет, не три, а целых пять, сплелись в один непрочный клубок, размеры которого Василию кажутся одними, Вике – другими, Марии – третьими, хотя она вряд ли знает о существовании этого клубка.

Василий вспомнил свою последнюю ночь в Смоленске, проведенную с Натальей Александровной, глубоко вздохнул. Писали из дому, что погибла Наталья Александровна, в прошлом же году и погибла: нашли в лесу неподалеку от Валуевичей с ножевой раной. А кто-то – поди знай. Прочитав о смерти своей бывшей учительницы и любовницы, Василий погрустил немного да и забыл: прошлое не вернешь, как о нем не грусти и не печалься. И вот вспомнилось некстати.

Они вышли к Неве, побрели берегом, захлавленным наносным мусором, гниющими бревнами, остатками каких-то строений, деревянными и металлическими частями развалившихся речных посудин. Вверх по течению медленно ползла баржа с песком, усиленно пыхла машина буксира, толкавшего баржу, густой дым из прямой трубы буксира стлался над рекой, прижимаясь к воде. На противоположном берегу высилась громада Смольного, дальше золотились купола собора Александра Невского.

Стояла теплая пора ранней весны, перемежаемая частыми ликующими дождями. Вот-вот все кинется в рост и цветение, и весь мир, окутанный легкой дымкой испарений от нагретой солнцем земли, точно замер в ожидании чуда. Василию казалось, что все это уже с ним было, и ни раз: и такая же весна, такое же ожидание чуда, и его неуверенность, раздвоенность и наплывающая беспомощность перед неизбежностью. Не хотелось ни о чем думать, куда-то идти, даже в знакомую до последней трещинки на стене комнатенку их постоянных свиданий. То ли весеннее обострение чахотки на него так действовало, то ли усталость от бестолковой жизни.

– И что ты решила? – спросил Василий, следя глазами за баржей, своим вопросом перекладывая на Вику всю тяжесть своей ответственности за их несостоявшееся будущее.

– Я? – переспросила Вика и полезла в сумочку, порылась там, будто что-то ища, закрыла и отвернулась. Когда заговорила, голос ее дрожал и прерывался: – Я уже устала думать, Васенька. Я шла к тебе, надеясь, что ты, как мужчина... Впрочем, это уже не важно.

Василий ничего не сказал. Да и что говорить? И так все ясно. Но как не хотелось ему этой пронзительной ясности, требующей ясных ответов и решений. Было такое ощущение, что его снова выгоняют откуда-то, но кто выгоняет и зачем – об этом думать не хотелось.

Вспомнилось, что Мария просила его зайти в магазин, купить хлеба и подсолнечного масла. Если это бессмысленное хождение вдоль Невы продолжится, магазины закроются, он не успеет ничего купить, скандала не миновать: в последнее время Мария чуть что – в слезы и ну жаловаться на свою судьбу. Ее слезы раздражали: у него у самого судьба не лучше, только жаловаться на нее некому.

– Пойдем назад, – предложил Василий, когда они добрались до моста Александра Невского.

– Назад? – Вика встрепелась. – Назад? – переспросила она с изумлением, точно очнувшись. И вдруг заговорила, все более повышая голос: – Куда – назад, Васенька? Разве можно вернуться назад? Разве можно вообще к чему-нибудь вернуться, что уже было? Идти можно только вперед. В этом смысл жизни. А ты... – Она задохнулась от беспомощности и негодования, покачала головой, продолжила с горьким сожалением: – Ты остановился, Васенька. Хуже того: ты потерял себя. Боюсь, что здесь мы с тобой разойдемся. Раз и навсегда!

Василий молча катал желваки на скулах. Что он может сказать? Все уже было сказано-пересказано...

Вика гордо вскинула голову, встряхнула своими черными жесткими волосами. Она сейчас была особенно красива и недоступна.

– Прощай! – бросила она Василию, и, выставив руку, точно защищаясь от него, воскликнула с незнакомым надрывом: – И не иди за мной! Не иди! Пожалуйста!

А он и не собирался идти, закаменев, тупо смотрел себе под ноги.

Вика всхлипнула и кинулась к мосту, побежала, разбрасывая ноги в стороны, и уже вдалеке согнулась беспомощно, замедлила шаги, остановилась, стояла несколько мгновений, но не оглянулась и пошла дальше, все ускоряя и ускоряя шаг.

Василий долго стоял и смотрел ей вслед. Вечер как-то враз стал пасмурным, все кругом утратило свои краски, посерело и сделалось невзрачным. Даже золоченые купола собора на другой стороне Невы.

Глава 11

Сойдя с трамвая на остановку раньше, Василий зашел в магазин.

– Через пять минут закрываем! – крикнула ему пожилая кассирша недовольным голосом. – Мы из-за вас не собираемся здесь сидеть до полуночи. Вовремя надо приходить, товарищ!

– Да мне и пяти минут не надо, – мрачно отбивался Василий. – Двух достаточно.

– Все вы так говорите. Побыстрей давай! Чего тебе?

– Хлеба и подсолнечного масла.

– Посуду давай!

– У вас всегда свои бутылки были...

– Были да сплыли. – И уже молоденькой продавщице: – Кать, есть у тебя там поллитровки?

– Есть еще.

– Налей этому товарищу, а то от него не отделаешься: такой прилипчивый попался, – ворчала кассирша.

Василий вышел из магазина, держа в руке авоську с хлебом и бутылкой масла. В другое время он бы им показал, как разговаривать таким хамским тоном с рабочим человеком. Книгу жалоб потребовал бы, в Ленторг позвонил бы. С этими продавщицами, буржуйками недорезанными, только так и надо: наглые стервы, будто это их магазин, а не государственный. Переработались они... Эка! Он чуть ли ни ежедневно вкалывает сверхурочно, да еще пару выходных в месяц приходится выходить на работу, а платят за сверхурочные чистые гроши. Но дело и не в деньгах вовсе, а в том, что международная обстановка такая: не сегодня-завтра война, все должны работать, как проклятые, чтобы у Красной армии было чем воевать. А эти...

Но сегодня Василий не расположен отстаивать свои права гражданина и достоинство рабочего человека. Сегодня его ничто не трогало, ничто не могло вывести из того состояния опустошенности и мрака, в какое погрузилась его израненная душа. Что толку что-то доказывать кому-то, когда сам себе ничего доказать не способен.

Василий шел по тротуару, опустив голову и бездумно скользя глазами по серому асфальту. Солнце стояло низко, и длинная тень Василия бесшумно скользила перед ним наискосок, накрывая собою то штакетины забора, то тумбу для объявлений, то фонарный столб, как будто это была и не тень даже, а его судьба, изломанная и вытянутая в направлении, на которое невозможно свернуть: ведь не пойдешь же к своему дому напрямик, перелезая через заборы, дома и сараи, продираясь сквозь заросли сирени, топча чьи-то огороды, палисадники и клумбы. Все определено заранее, не свернешь, не повернешь назад.

До переулка, в котором жил Василий оставалось метров сто, сбоку требовательно задребезжал трамвай, Василий поднял голову и увидел, что трамвайные линии торопливо пересекают мужчину и женщина с коляской и мальчонкой лет четырех-пяти. Мальчонка держит женщину за руку, беспечно скачет то на одной ноге, то на другой, норовя задержаться на каждом рельсе, женщина нетерпеливо дергает его за руку, но мальчонка успевает подпрыгнуть на одной ноге и на рельсе, спрыгнуть с него да еще оглянуться, проверяя, далеко ли он прыгнул.

И в женщине, и в мальчонке, и в коляске было что-то знакомое. И даже в мужчине, хотя этот мужчина никак с остальными не связывался, он там был лишний, и потому мирная картина движущейся через улицу семьи несла в себе нечто невозможное, даже зловещее.

Василий остановился и с недоумением следил за этой семьей. Несомненно, это были его жена, его сын, в коляске наверняка лежала его дочь, но мужчина... зачем он там? Какое

он имеет к ним отношение? Помогал перейти проезжую часть? Это было бы понятно и объяснимо, если бы этим мужчиной не был Иван Кондоров, с такой настойчивостью добивавшийся когда-то Марии.

Вот они наконец выбрались на тротуар, остановились, и Кондоров, что-то сказав, отделился от них и пошел вверх по проспекту. Мария проводила его взглядом, но тут же заторопилась, толкнула коляску, дернула за руку непоседливого сына и скрылась за углом.

Василий перевел дух. Он даже не заметил, что все это время дышал едва-едва, точно дыхание его могли услышать Иван и Мария, увидеть и его самого, замершего в тени раскидистой липы, и тогда непременно случится что-то нехорошее, даже стыдное.

«Ерунда, – сказал сам себе Василий. – Ну, встретились случайно, ну проводил – что тут такого? Ты вон сам когда-то встретил Зинаиду, она даже поцеловала тебя – и что? Ничего. А увидела бы Мария, что подумала бы? Мало ли что могла подумать. Вот и ты тоже...»

Хотя все, что он говорил сам себе, было убедительно, душа Василия ныла, он даже позабыл на какое-то время о размолвке с Викой и об их, возможно, последней встрече. Вика уходила в прошлое, а в настоящем и в будущем выступало нечто, каким-то образом связанное с Иваном Кондоровым, с его однажды произнесенной угрозой: «Ты еще пожалеешь об этом». Или это тоже в прошлом? И тут Василий вспомнил, что и заметка в заводской многотиражке о тех, кто скрывает свое подлинное лицо за ненастоящими фамилиями и биографиями, среди которых была названа и его фамилия, и исключение с рабфака случились почти сразу же после разговора с Иваном, когда Иван униженно просил Василия отказаться от Марии, хотя он, Василий, тогда о Марии и не думал. Так неужели это Иванова работа? Не может быть. Но мысль засела в голову и не отпускала, пока Василий медленно брел к дому, стараясь появиться там попозже, чтобы Мария не догадалась, что он видел ее с Кондоровым.

Глава 12

Иван Кондоров дважды случайно видел Василия – и все с одной и той же девицей. Один раз на проспекте 25 Октября, другой раз на улице Красных зорь, неподалеку от Лопухинского сада. Если в первый раз Василий шел с девицей под руку и о чем-то оживленно с ней разговаривал, а Иван проезжал мимо на трамвае и девицу даже не успел как следует разглядеть, то во второй раз Иван спешил на стадион КИМА, шел пешком, потому что трамваи стояли из-за какой-то аварии, и неожиданно увидел, как за тумбой для объявлений стоят двое и целуются, думая, что их никто не видит. Когда эти двое оторвались друг от друга, Иван узнал в парне Василия Мануйлова, а в девице – ту самую девицу, что видел с ним до этого.

И вот третий раз – у самой проходной завода. Само собой, они не целовались и в то же время вели себя как-то не так: постояли, глядя в разные стороны, и пошли к Неве. Но дело, конечно, не в том, как они себя вели, а в том, что Васька все-таки женился на Марии и он же при всем при этом путается с какой-то бабой. И тут же Иван решил, что встретит Марию и откроет ей глаза на своего мужа: пусть знает, за кого вышла замуж, пусть пожалеет, что не за Ивана Кондорова, пусть вспомнит, о чем он предупреждал ее, дуру, пусть, наконец, помучается, пострадает, как мучился и страдал сам Иван.

И Кондоров, человек решительный и не особенно задумывающийся о последствиях, сел на трамвай и поехал к Лесному переулку, где жила Мария. Он надеялся встретить ее возле дома, уверенный, что Василий появится там не скоро и что Марии тоже нужна эта встреча и правда о ее муже.

Иван Кондоров увидел Марию, едва свернув в переулок: она шла ему навстречу, держа за руку сына и толкая впереди детскую коляску. Он сразу же узнал ее, хотя за четыре с лишним года Мария сильно изменилась: округлилась, в ее осанке появилась уверенность и то спокойствие, которое отличает замужнюю женщину от незамужней, то есть еще не устроившей свою судьбу. Иван не знал, что у нее уже двое, но принял это как должное: меньше и не должно быть. Однако все это никак не повлияло на его решимость открыть Марии глаза на Василия. Даже наоборот: при виде спокойно шествующей женщины в его душе что-то такое повернулось, ожесточив ее до крайности. Он лишь спустя какое-то время понял, что это такое: и у него с Марией могло быть двое детей. И даже больше.

И все-таки, несмотря на свою готовность к встрече с Марией, встреча эта для Ивана вышла неожиданной. Увидев ее, он даже растерялся и остановился на углу, замер чурбак чурбаком. А вся штука в том, что, направляясь сюда, Иван предполагал долгое ожидание, подкарауливание и всякие иные препятствия, которые могут возникнуть между ним и Марией. Хотя он никогда не бывал в этом переулке, а дом знал лишь по номеру, однако никакой загадки ни переулок, ни сам дом для него не представляли. Загадка была лишь в том, как встретит его Мария. И вот она перед ним, знакомые черные глаза смотрят на него с испугом и ожиданием.

Еще более неожиданной эта встреча оказалась для Марии. И не только неожиданной, но и пугающей: Иван – и вдруг здесь, возле ее дома! Уж не случилось ли что с Василием? Она почувствовала, как кровь отлила от ее лица, как онемели ноги. Каких-то связных мыслей в голове не было. Да и откуда им там взяться, когда все тело оцепенело от страха? Ей уже чудилось, что Василий лежит, раздавленный какой-то огромной машиной, лежит на земле, в крови, и вокруг люди. Подобное она видела однажды на Светлановском проспекте: мужчина, пытавшийся на ходу вскочить в трамвай, вдруг поскользнулся и въехал всем телом под самые колеса – крик, визг тормозов, толпа и распростертое на земле измятое тело в луже почти черной крови.

А Иван как встал на углу, так ни с места, лишь пялится на нее своими белесо-серыми глазами, а что в этих глазах, не разберешь.

Мария уж и не помнит, как дошла до угла, остановилась напротив Ивана и спросила, едва шевеля помертвелыми губами:

– Что с ним?

– С кем? – не понял Иван.

Мария закрыла глаза и покачнулась: переход от отчаяния к надежде был слишком стремительным, чтобы разум успел оценить, что с Василием ничего не случилось; она почувствовала это чем-то другим.

– Ма-а! – вскрикнул Витюшка, пытаясь выдернуть ручонку из ее руки. – Мне бойно!

Мария очнулась, глянула на сына, с трудом разжала пальцы. Потом с ненавистью посмотрела на Ивана: с минуты на минуту появится Василий, увидит ее с Иваном... Что подумает?

– Зачем пришел? – спросила она и толкнула коляску.

– Так, шел мимо, дай, думаю, гляну, какая ты стала. Давно не видел, – оправдывался Иван, уступая дорогу. Он не ожидал такой открытой неприязни с ее стороны, потому что ничем эту неприязнь не заслужил: ведь он не виноват, что втюрился в Марию, что до сих пор не может вырвать ее из своего сердца.

– Ну, поглядел? Иди своей дорогой, – бросила Мария.

– Зря ты так...

– Зря не зря, а... дети вот, люди увидят...

– Никого нет, – усмехнулся Иван, вполне пришедший в себя от неожиданности встречи и жестоких слов Марии. – И Василий твой не скоро объявится.

Снова Мария почувствовала страх за Василия, за себя, хотя в словах Ивана не содержалось и намек на несчастье, зато повеяло давней угрозой, что он выведет Василия на чистую воду, откроет глаза советской власти на его мелкобуржуазную сущность.

Мария ничего не сказала, торопливо пересекая малолюдный проспект: ей надо купить хлеба и подсолнечного масла, потому что Василий, судя по всему, опять задерживается на работе, сам купить не успеет, а ей его кормить, у нее картошка почищена, без масла картошку не поджаришь, без хлеба какая еда...

Возле продмага Мария оставила коляску, сына потащила с собой.

– Газин агагу? – спросил Витюшка, прыгая по ступенькам.

– Агагу, – машинально ответила Мария и оглянулась: Иван стоял в двух шагах от коляски, заглядывал под капюшон. «Пусть смотрит!» – мстительно подумала она, однако на сердце было тревожно.

И все время, пока стояла в очереди в кассу, поглядывала в окно, точно боялась, что Иван утащит ее дочь, и с облегчением вздохнула, снова очутившись на улице.

– Ты нас не провожай, – велела Мария, берясь за коляску. И пояснила: – Говорить нам не о чем.

– Почему же? – усмехнулся Иван. – Очень даже есть о чем... – Он помолчал, ожидая, что Мария проявит любопытство, но она не проявляла, смотрела прямо перед собой, хмурила узенький лобик. «Бойтся», – с удовлетворением подумал Иван и ляпнул: – Твой Василий сейчас с бабой милуется, а ты, дура, думаешь, что он на работе соцобязательство выполняет...

– Врешь ты все! – вскрикнула Мария и сама же задохнулась от этого крика.

– Сам видел, – сказал Иван, шагая рядом и пытаясь заглянуть Марии в глаза. – И не один раз, – добавил он для верности.

Накатывал трамвай, нервно дребезжал звонок, Мария торопливо перетаскивала коляску через рельсы, тащила сына за руку. Из груди ее рвался крик, темный туман застилал

глаза. На углу она остановилась, перевела дух и, не глядя на Ивана, едва выговорила одними губами от переполнявшей ее ненависти и отчаяния:

– У-у, гад подколотый! Навязался на мою голову!

– Я тебя предупреждал, Маня, что Васька тебе не пара, вот оно и вышло, – произнес Иван с сочувствием. И тут же, озлившись, выпалил: – Дура ты, Манька! Ох, и дура же! – Затем презрительно передернул крутыми плечами, повернулся и пошел вверх по проспекту, хотя надо было как раз в другую сторону, но ему показалось, что в той стороне, под обвисшими ветвями старой липы, стоит Василий Мануйлов. Встречаться с ним сейчас Ивану было не с руки.

Глава 13

Мария пришла домой, раздела сына, переложила дочь в кроватку и, не раздеваясь, бесильно опустилась на стул. В ее ушах все еще звучали слова Ивана: «Твой Василий сейчас с бабой милуется... с бабой милуется... милуется...»

Ах, она и сама догадывалась, что не только на работе пропадает вечерами ее Василий, но гнала от себя эти догадки. Неужели с длинноногой разведенкой Викой? Однако на первомайской вечеринке у Земляковых они так равнодушны были друг к другу, даже не танцевали... Нет, нет, этого не может быть! Но почему же не может? Не станет Иван просто так, от нечего делать или из мести, наговаривать: не такой он человек... Ах, ничего бы не знать, не слышать, не видеть...

Хлопнула входная дверь, в коридоре зазвучали знакомые шаги, Мария вскочила на ноги, рванулась навстречу: врет Иван, врет! вот он, ее Василий! и ни с какой не с бабой!

Дверь отварила, вошел Василий, вопросительно глянул на жену и сразу все понял: не случайно Иван встречался с его Марией, нет, не случайно. И все в нем враз перепуталось и захлебнулось той черной тоской, избавиться от которой можно лишь с помощью чего-то такого же черного, и еще чернее.

– И давно ты встречаешься с Кондоровым? – спросил он, прислоняясь к косяку двери плечом и глядя на жену сузившимися глазами.

– Вася! – вскрикнула Мария в отчаянии. – Что ты говоришь такое?

– А то и говорю, что сам видел, – проскрипел Василий сквозь зубы, шагнул в комнату, прикрыв за собой дверь, сунул на буфет авоську с хлебом и маслом, навис над Марией побелевшим лицом. Казалось: вот-вот ударит.

– Да он сам подошел! Сам! Зачем он мне нужен! – защищалась она.

– Сам, говоришь? Зря бы не подошел, – гнул свое Василий.

– А он и не зря! – попробовала перейти в наступление Мария. – Он сказал, что ты путаешься с этой... с этой тонконогой разведенкой! Он сказал, что видел тебя с нею!

– Вот как! Сама путаешься, а на меня валишь? Сговорились? – метал Василий слова, как вилами навоз, сам удивляясь, откуда эти черные слова берутся. В то же время чувствовал в груди мстительное торжество, оно распирало его, рвалось наружу все новыми и новыми словами, которыми он хлестал Марию за свою к ней нелюбовь, за неспособность расстаться с нею, за свою дурацкую щепетильность, толкнувшую его из благодарности в ее объятия. Он ненавидел себя, но Марию еще больше.

– Сука! Проститутка! – выкрикивал он сдавленным голосом, чтобы не услышали соседи.

Мария уже и не защищалась. Она попятилась, упала на стул, уронила голову, заплакала.

Захныкал под столом Витюшка, тут же проснулась Людмила и заглушила всех своим басовитым ревом.

Василий повернулся и кинулся из комнаты вон: он испугался за себя, за Марию, за детей. Его ненависть достигла того предела, за которым все дозволено. Еще немного, и он переступил бы этот предел.

Выскочив из подъезда, Василий зашагал в сторону лесопарка. Дышать было трудно, к горлу подступал кашель. Что-то он сделал сегодня не то. Что-то низкое и подлое. И по отношению к Вике и, тем более, к Марии. Но признавать это не хотелось. Вика... А что Вика? Он, Василий, рабочий, а она... а у нее отец – шишка, в Москве станет шишкой еще большей. Рано или поздно его связь с Викторией должна была оборваться. Она и оборвалась. Мария? А кто просил ее ходить к нему в больницу, ухаживать за ним? Он, Василий, не просил. А в

результате... Впрочем, он и сам хорош: разнюнился, распустил сопли, убедил сам себя, что лучше Марии он себе жены не найдет...

Василий брел по лесу, не разбирая дороги. Садилось солнце, бросая на сосны косые лучи, и сосны светились тревожным красным светом. Пищухи и поползни сновали по их стволам вверх-вниз, заглядывая в трещины и щели. На березах сустились синицы, со всех сторон слышалась звонкая дробь дятлов. Пробовала свой голос кукушка. Два ворона гонялись друг за другом, выделявая в воздухе замысловатые пируэты.

Поначалу Василий не слышал птиц, не видел леса. Но постепенно слух стал улавливать отдельные звуки, глаза различать отдельные деревья и кусты. От этих звуков, сосен и берез пахло далеким и родным. Защемило сердце, Василий ткнулся лицом в шершавую кору сосны, почувствовал ее смолистый терпкий запах и... заплакал. Плакать ему вовсе не хотелось. Но и сдержаться не мог. Сперва он плакал злыми, ожесточенными слезами, потом злость и ожесточенность прошли, и он уже не думал, зачем эти слезы, по ком они или о чем.

Домой он возвращался по темну. На душе было пусто, точно из нее, как из старой квартиры, вынесли всё, оставив лишь голые стены. Казалось, что любой громкий звук в этой пустоте может обрушить стены и погрести его под их обломками. Василий нес свое тело с осторожностью, боясь неловкого, резкого движения. Он смирился и с тем, что у него больше не будет Вики, и с тем, что ему никуда не деться от Марии. О Кондрове не думал: тот для него просто не существовал.

С лавочки, укрытой развесистым кустом сирени, поднялась жалкая фигурка и шагнула ему навстречу. Василий узнал Марию. Подошел.

– Дети спят? – спросил он так, словно между ними ничего не произошло. Мария молча покивала головой и робко подвинулась к нему, комкая в руках платочек. Василию вдруг стало жаль свою жену, он взял ее за плечи, прижал к своей груди. Так они стояли долго. Мария тихо плакала, уткнувшись лицом в его плащ, время от времени по-детски всхлипывая. Василий не мешал ей плакать, смотрел в темноту и слушал, как где-то далеко-далеко рождаются звуки гармошки, то наплывая отчетливыми переборами, то замирая едва различимыми вздохами. Ему и самому хотелось плакать, но слез больше не было – выплакал в лесу.

Глава 14

Комкор Георгий Константинович Жуков, заместитель командующего войсками Белорусского особого военного округа, почти все дни, начиная с мая, проводил на полигонах, inspectируя в основном кавалерию, ее состояние, боевую выучку. Хотя время кавалерии, судя по всему, идет к концу, однако она свое слово в грядущих боях еще скажет. Тем более если иметь в виду российские дороги, огромные пространства, степень развития военной техники и подготовленности технических кадров. Жуков не был военным теоретиком, но он читал все, что писали другие как в СССР, так и за рубежом, и делал соответствующие выводы. И выводы эти были в пользу танков, авиации и артиллерии. Ну и, разумеется, пехоты – куда без нее? Однако, случись завтра война, командовать придется тем, что имеется. Как говорится, выше головы не прыгнешь.

Вот и сегодня в один из жарких дней конца июня он наблюдал, как танковый батальон атакует позиции условного противника при поддержке кавалерийского эскадрона. Танки неслись по изрытому воронками полю, стреляя из пушек и пулеметов, за ними, сверкая обнаженными шашками, скакали кавалеристы. Густо дымили взрывпакеты, шарахались от них кони, лавина катилась к кромке леса, где виднелись окопы, и все выглядело вполне настоящим, но чего-то во всем этом не хватало. И не только потому, что бой был условный, а... даже и не знаешь, почему. То есть знаешь, конечно: стрельба танков на ходу малоэффективна, атака кавалерии укрепленных позиций противника чревата большими потерями, тем более если все это накрыть плотным огнем артиллерии, плюс авиация, то от этих танков и кавалеристов мокрого места не останется. Но это еще не значит, что подобные учения проводить не нужно. Нужно! И еще как нужно.

И тут Жукова позвали к телефону.

Он с досадой отвлекся от картины условного боя, взял трубку из рук телефониста.

– Георгий, звонили из Москвы, – зазвучал в трубке знакомый голос члена Военного совета округа, показавшийся Жукову встревоженным. – Приказали завтра же тебе в десять часов утра быть у Ворошилова. Бросай все и выезжай. Билет на поезд заказан. Поспеешь как раз к сроку.

– Не знаешь, к чему такая спешка?

– Понятия не имею.

– Ну, что ж, есть. Выезжаю. Саблю брать?

– Возьми на всякий случай, – ответил член Военного совета.

Жуков поехал прямо на вокзал, не заезжая домой. А там его уже ждала жена с походным чемоданчиком.

Ворошилов принял сразу же, несмотря на то, что в приемной его вызова ожидали начальники рангом повыше, чем у Жукова. Встал из-за стола, шагнул навстречу, крепко пожал руку, и у Жукова отлегло от сердца: он всю дорогу маялся, предполагая, чем могут встретить его в наркомате обороны, не исключая и самого худшего.

– Такое дело, товарищ Жуков, – начал Ворошилов, подведя комкора к большой карте СССР, ткнул пальцем в самое подбрюшье страны, в желто-зелено-бурое пятно, перерезаемое синей нитью реки на северо-восточной окраине Монгольской народной республики. – Вот здесь, как тебе, думаю, известно, японцы вторглись в пределы МНР. У нас с ней договор о взаимопомощи. Там идут бои. Наши войска отошли на западную сторону реки Халхин-Гол. Отдельный корпус. Командует им комбриг Фекленко. Мы считаем, что он не справляется... Не отвечает, так сказать, требованиям времени. Решено послать тебя, чтобы посмотрел, как там и что, как говорится, свежим глазом. Отправляйся немедленно. Как только прилетишь,

изучи обстановку, разберись, подумай, что надо предпринять, чтобы надавать япошкам за их, так сказать, нахальство по первое число. О своих планах доложишь лично мне. Самолет готов. Вылетай немедленно.

Жукова привезли на Центральный аэродром прямо на летное поле, где его ждал одномоторный самолет Р-5, приспособленный для ведения воздушной разведки. В нем всего два места – для летчика и наблюдателя. Кабины, если так можно их назвать, располагались одна за другой, ничем не прикрытые сверху. Скорее всего для того, чтобы – если самолет начнет падать – легче из него выбраться.

Уже вращался пропеллер, из выхлопной трубы вырывались облачка белесого дыма. Жукову дали летный шлем с наушниками и очками, теплые сапоги и куртку на собачьем меху, застегнули на все застёжки, повесили на спину парашют, показали, за что дергать, в какую сторону вылезать, если вдруг... и помогли забраться в кабину и пристегнуться. А еще заставили проглотить какой-то порошок и запить водой. Жуков с трудом уместился на месте наблюдателя позади летчика, который уже сидел за штурвалом. Что-то спросить было невозможно из-за рева мотора. Жуков лишь дотронулся до его плеча, тот, полуобернувшись, кивнул головой.

Взлетели. Без обычного круга над летным полем встали сразу же на маршрут. Треща мотором, самолет медленно лез вверх. Встречный ветер с каждой минутой становился все холоднее. Самолет то проваливался в яму, то его подбрасывало вверх, и у Жукова внутренности следовали за этими скачками.

Жуков впервые летел на самолете, смотрел вниз на проплывающие под ним московские улицы, парки и скверы, извилистую ленту Москвы-реки. Пытался представить себе, что ждет его в Монголии. Однако вскоре понял, что представлять нечего, информации почти никакой, следовательно, нечего зря морочить самому себе голову: прилетит, на месте разберется. Главное – долететь.

Полет до цели занял несколько суток: взлетали, немного, как казалось Жукову, пролетев, садились на дозаправку, через час снова взлетали... И так раз за разом. Иногда переживали грозу и дожди, туман или сильный встречный ветер, низкую облачность. Подолгу ожидали, когда высохнет раскисшая взлетная полоса, в которой вязли самолетные колеса.

Чем выше забирались в небо, тем, казалось, медленнее летели. Иной изгиб речушки глубоко внизу подолгу не отпускал самолет, будто привязав его к себе невидимыми путами. Иногда попадали в сплошную облачность. Тогда забирались еще выше, летели над облаками. При этом трясло так, словно скачешь наметом по изрытому снарядами полю, сидя на крестьянской телеге.

Ночью спали, ели.

Жуков нервничал. Но подгонять летчика или аэродромное начальство в лице какого-нибудь лейтенанта, не имело смысла: все и так были предупреждены Москвой о срочности доставки комкора по своему назначению, то есть на каждом промежуточном аэродроме до следующего, а какой из них конечный не знал и сам Жуков.

На пятые сутки самолет сел на ровном поле, подняв в небо тучи пыли. В стороне, накрытые кое-как маскировочными сетями, стоят еще несколько самолетов. На длинном шесте полощется полосатая «колбаса», то надуваясь порывом ветра, то надолго опадая.

– Прилетели, товарищ комкор, – сообщил летчик, заглушив мотор неподалеку от какого-то строения, возле которого толпилась кучка людей.

Жуков с трудом выбрался из самолета, топтался на месте, разминая занемевшие ноги.

К нему, отделившись от группы, подошли двое. Одного из них Жуков знал: командарм первого ранга Кулик. Ему Жуков и представился. Другой представился сам:

– Комбриг Фекленко.

Пожали друг другу руки. Жуков, не отпуская руки комбрига, спросил:

– А далеко отсюда до реки Халхин-Гол?

– Да не так чтобы, – пожал плечами комбриг. – И уточнил под ожидающим взглядом посланца из Москвы: – Километров сто двадцать будет.

– И как же ты отсюда руководишь войсками?

– А что делать? Там ни КП порядочного, ни связи. Вот как только оборудуют...

– Так, все ясно. На чем туда можно добраться?

– На машине.

– Тогда попрошу выделить мне машину, командира связи, знающего дорогу, ну и охрану... естественно.

– И куда ты спешишь? – спросил Кулик. – Пообедаем, потолкуем, решим, что делать дальше. Один день погоды не делает. Тут как раз и командарм Штерн прилетит из Улан-Батора. Как говорится, один ум – хорошо, а несколько – в несколько раз лучше.

Ворошилов Жукова предупредил: на Кулика и Штерна особого внимания не обращай: большие любители поговорить. Данные тебе полномочия дают на это право. А нам нужно знать все до мельчайших деталей. И как можно скорее.

– Спасибо, товарищ командарм первого ранга, – вскинул голову Жуков, выставив вперед свой тяжелый раздвоенный подбородок. – У меня приказ товарища Ворошилова: сразу же по прибытию выяснить обстановку и доложить в Москву. Перекушу в дороге. Вот когда сам посмотрю на месте, что там и как, тогда и потолкуем.

– Ну-ну! – только и смог сказать Кулик. Да еще и усмехнуться: мол, видали мы таких. И где они теперь?

Фекленко молча кусал нижнюю губу.

Впрочем, и самому Жукову не так просто было перечить старшему по званию: многолетняя привычка действовала, субординация мешала. Но однажды переступив этот порог, обратившись через голову своего непосредственного начальства к Сталину и Ворошилову, он, быть может, спас себе жизнь. Другие гнулись, стрелялись, пускались в бег. Жукову бежать было некуда. И в мыслях подобного не держал. Так что второй раз переступать через порог субординации было легче. А там... А там будет видно.

Уже несколько дней Жуков мотается на машине с одной позиции наших войск до другой, дотошно расспрашивает у командиров всех степеней, что они думают о создавшемся положении, спит урывками, пытаясь разобраться в обстановке. Обстановка не из простых: японская группировка превосходит советско-монгольскую по всем статьям. И постоянно наращивается. Благо, базы имеет менее чем в сотне километров от линии фронта, где заканчивается железная дорога, идущая от самого Тихого океана. Советско-монгольским войскам обороняться в таких условиях какое-то время – куда ни шло, но чтобы надавать по первое число, как того хочет Ворошилов, надо иметь существенное преимущество как в численности войск, так и в их вооружении. Даже наша авиация – и та уступает японской и по скорости, и по вооруженности, не говоря уже о численности, и поэтому не оказывает существенного влияния на боевую обстановку. Для усиления войск необходимо подтянуть из Забайкальского округа несколько стрелковых дивизий, артиллерийских и танковых бригад, усилить авиацию новейшими самолетами, накопить боеприпасы, продовольствие и многое другое – и все это по бездорожью не менее семисот километров. А пока требуемое пополнение соберется, имеющимся в наличии войскам необходимо, зарывшись в землю по самую маковку, держаться за свои позиции, что называется, зубами и ногтями.

Что удивило Жукова, так это почти полное бездействие со стороны японцев. Даже тот факт, что он среди бела дня ездит по дорогам на виду у той стороны, – и хоть бы один выстрел оттуда. Разве что по ночам вспыхивают перестрелки между нашими патрулями и японской

разведкой, шастающей в нашем тылу. А это значит, что противник к чему-то готовится, а к чему и в каком месте, неизвестно.

Через несколько дней Жуков созвонился с Ворошиловым и сообщил о том, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы надавать япошкам по это самое первое число. Ворошилов ответил не сразу: видать, советовался. Затем сообщил, что выводы и планы одобрены, приказал принять командование особым советско-монгольским корпусом, противостоящим японским войскам, пообещал, что все необходимое будет отправлено в ближайшее время, пожелал успехов.

Глава 15

В ночь со второго на третье июля 1939 года Жуков находился на левом фланге обороны. Здесь в предыдущих оборонительных боях одна из советских дивизий удержала плацдарм на восточном берегу пограничной реки Халхин-Гол, с которого Жуков рассчитывал нанести удар по противнику, полагая, что именно на левом фланге наших войск должны развернуться главные события. Надо было хорошенько укрепить эти позиции, насытить их артиллерией, незаметно подтянуть резервы, и не только удержать плацдарм, перемалывая войска противника упорной обороной, но и расширить его для дальнейшего наращивания ударов. Правда, по-прежнему японцы ведут себя тихо – постреливают, но не атакуют. А нам пока и атаковать нечем: всё еще в движении, всё на подходе.

Время за полночь. Отдав необходимые распоряжения, Жуков, прежде чем лечь спать, вышел из землянки подышать свежим воздухом. Воздух действительно был свежим, наполненным запахом увядших трав и ночной прохладой. Далеко за рекой мерцали огоньки костров. Как поведали ему старожилы, японцы зажигают их по ночам то там, то сям, провоцируя нашу артиллерию. И поначалу им это удавалось... пока не разобрались. И уже давно не стреляем, а они все жгут и жгут. И, надо думать, не зря приучают нас к этим кострам, наверняка что-то замыслили, что-то стараются скрыть, и уж точно – снизить нашу бдительность.

Жуков долго вглядывался в эти костры, видя при этом карту и стараясь определить, в каком месте костры горят и что за этим кроется. Кое-где время от времени взлетают осветительные ракеты, протарахтит очередь из пулемета, сорвется частая ружейная стрельба: то ли наши посты обнаружили японских разведчиков, то ли японские наших.

А над головой небо густого ультрамарина утыкано таинственно мерцающими звездами, светится Млечный путь. Вот небо прочертила яркая вспышка упавшей звезды. Конечно, это не звезды падают, а мелкие метеориты, но об этом Жуков узнал лишь недавно. И вообще много чего он узнал за последние годы. Но еще больше лежит непознанным: времени на все не хватает.

Спустившись в землянку, сняв лишь сапоги да гимнастерку, лег на топчан, укрывшись шинелью. Уснул мгновенно, едва дотронувшись головой до подушки, и, как ему показалось, не проспал и десяти минут, как его тряхнули за плечо.

– Что? – спросил он, не открывая глаз, уверенный, что будят по каким-нибудь пустякам, как уже случалось ни раз.

– Только что получено сообщение, товарищ командующий, – услышал Жуков взволнованный голос дежурного офицера, отбросил шинель, сел, потер небритый подбородок, спросил:

– И что – сообщение?

– Японцы сбили наше охранение на правом фланге, захватили плацдарм на западном берегу реки, оседлали высоту Баин-Цаган, начали переправу своих войск и артиллерии.

– Когда это произошло?

– Похоже, часа два-три назад.

– Что значит – похоже? А точнее?

– Точнее сказать не могу: выясняется.

– Хорошо, сейчас приду, – произнес Жуков и принялся натягивать сапоги.

В просторном помещении командного пункта, где под бревенчатым потолком горело несколько лампочек, на столе, сбитом из грубо оструганных досок, лежала подробная карта района с обозначенными на ней оврагами, возвышенностями, рекой и ее притоками, дорогами и тропами, позициями наших и японских войск. А вокруг стола, склонившись над кар-

той, стояли командир дивизии, которая держала оборону на плацдарме, его начальник штаба, начальник оперативного управления штаба фронта и начальник разведки.

Жуков глянул на карту, изученную им до самого незначительного штриха, но и без нее поняв всю опасность маневра войск противника: захватив плацдарм, они наверняка ударят во фланг советско-монгольской группировке, постараются отрезать наши войска, держащие оборону на восточном берегу, а дальше... Дальше Жуков не заглядывал. Он и без заглядывания знал, что с ним, Жуковым, будет: его «дело» откроют вновь, подкрепив провалом операции на порученном ему участке. Между тем опасность обвинения, выдвинутого против него и вроде бы отодвинутое вмешательством Сталина и Ворошилова, всегда стояла у него за плечами, он постоянно чувствовал ее холодное дыхание. Она же подстегивала его решительность, его интуицию, которая опиралась на те немногие знания, которые он получил на высших кавалерийских курсах, но более всего взял из книг. Эта призрачная опасность переплеталась с опасностью реальной, которая грозила подчиненным ему войскам. Следовательно, и ему самому. Реальная опасность заключалась в том, что поблизости ни войск, ни артиллерии в достаточном количестве у него не имелось, и если позволить японским войскам закрепиться на захваченном плацдарме, то сбить их оттуда будет невероятно трудно, потребует огромных жертв, придется просить новые подкрепления, а он и так получил почти все, что просил.

Беда заключалась еще и в том, что часть его резервов находится в семидесяти километрах от места боев, другая часть растянулась по дорогам на сотни километров, транспорта не хватает, и пока эти резервы подойдут, пока то да се, время будет упущено. Выход, однако, имелся, но весьма проблематичный – нанести удар по захваченному японцами плацдарму танковой бригадой при поддержке двух бригад бронемашин, которые несколько дней назад завершили длительный марш и теперь приводили себя в порядок приблизительно в сорока километрах от линии фронта. Но атаковать танками без поддержки пехоты – такого еще не было. Такое не предусматривалось никакими теориями и наставлениями. И если он, командующий, промахнется...

Но выхода другого нет. Нет другого выхода, хоть тресни, мать их так и перетак, этих япошек!

Жуков потер колючий подбородок, прикидывая, что получится из такой атаки. Он знал командира танковой бригады комбрига Яковлева по службе в Белорусском военном округе. Знал как решительного, смелого человека. Но решительность и смелость на учениях – это одно, а в бою – совсем другое. Зато ему не было известно, что в данный момент представляет из себя танковая бригада: сколько танков находится в строю после длительного марша по бездорожью сквозь густые облака пыли, насколько подготовлены к реальному бою экипажи. Узнать это имелась одна возможность – послать бригаду в бой... практически без поддержки пехоты и артиллерии. И даже авиации. Потому что японцы вряд ли позволят нашей авиации безнаказанно бомбить свои войска и переправу: и авиация у них лучше, и самолетов больше, и зениток полно, и большинство немецкие, последних моделей. Правда, в его распоряжение прибыл полк новых истребителей, но пока этот полк в боях не участвовал, и неизвестно, как он себя покажет.

– Надо незамедлительно отвести с плацдарма на этот берег артиллерию, – вмешался в размышления Жукова представитель наркомата обороны, командарм первого ранга Кулик. Его тоже только что подняли с постели, голос его хрипл и сварлив. – Пропадет артиллерия, Георгий. Отдавай приказ!

– А люди? – вскинул голову на короткой и мощной шее Жуков. – Что они там смогут без артиллерии?

– Люди? Люди как-нибудь. Люди у нас имеются. Скоро подойдут еще. Зато артиллерию тащить сюда за тридевять земель – сам знаешь...

В это время на командный пункт вошел командующий Забайкальским военным округом Штерн, тоже командарм первого ранга, так что комкор Жуков перед ними, что рядовой красноармеец перед командиром полка.

Пожав всем руки, выслушав подробности, Штерн поддержал Кулика:

– Другого выхода у нас нет, Георгий. Решай, иначе будет поздно. Надо отводить не только артиллерию, но и дивизию с того берега. Потом, когда накопим силы, вернем и плацдарм, и японцев сбросим в реку.

– А какой ценой – вы об этом подумали? – проскрипел Жуков, явно не соблюдая субординацию. Теперь он понимал, отчего комбриг Фекленко действовал столь робко: и советники с большими звездами давили, и ответственности боялся. И, несколько убавив скрипа в голосе, продолжил: – Нам не только пушки тащить сюда за тридевять земель, но и людей. К тому же и выход имеется... – Жуков помолчал, заметив, как напряглись все, кто находился на КП, и закончил, твердо чеканя каждое слово: – Я решил ударить по прорвавшимся японцам бронебригадами. И немедленно.

– Ты с ума сошел! – вскрикнул Кулик, будто ему наступили на ногу. – Пока пехота подойдет на своих двоих, пока то да се...

– Не будет никакого то да се. Удар нанесут бронебригады! Без пехоты. Пока японцы не зарылись в землю.

– Я – против! Категорически! – воскликнул Кулик. – И обращаясь к Штерну: – А ты, Григорий?

– Я тоже против. Так нельзя воевать, Георгий: это противоречит всем правилам.

– Приказываете или советуете? – вскинул Жуков раздвоенный подбородок. – Если приказываете, пишите письменный приказ. Но я его опротестую в Москве. Командовать войсками назначили меня. Мне и решать. И я решил.

– Приказывать не имеем права, – согласился Штерн, идя на попятную. – Однако сам посудите: такие вопросы не решаются с кондачка. Тут надо все хорошенько продумать.

– У меня в дивизии, между прочим, большой некомплект, – несмело встрял в разговор комдив. – Я тоже полагаю, что надо отойти на эту сторону, пополниться людьми...

– А тебя, комдив, никто, между прочим, не спрашивает, что делать! – взорвался Жуков. – Твое дело держать плацдарм. Держать до последнего патрона и солдата. И должен ты находиться при своей дивизии, а не околачиваться в тылу. Здесь и без тебя хватает... – с языка Жукова чуть не сорвалось слово «бездельников», но он удержал это слово за зубами. И тут же, без всякого перехода: – Без моего письменного приказа – ни шагу назад! Понял? Я спрашиваю: понял приказ?

– Так точно, товарищ командующий! Разрешите выполнять?

– Иди! И запомни: без письменного приказа, подписанного лично мной! Нарушишь приказ – рас-стреляю.

Комдив дернулся как от удара, повернулся кругом и вышел за дверь.

– Напрасно ты так круто, Георгий, – попенял Жукову командарм Штерн. – Командир он хороший, дело свое знает.

– Вот и пусть делает свое дело и не путается под ногами, – проскрипел Жуков. – Будет рядом с бойцами, тогда не только о себе позаботится, но и о своих солдатах и командирах. И раздумывать у нас времени нет. Пока будем думать, рак на горе свистнет, – и усмехнулся одними губами. – Впрочем, никто вам не мешает думать...

– А мы уже подумали, – резко оборвал Жукова Кулик. – Через несколько минут в Москву будет отправлена шифровка, в которой изложена твоя позиция, товарищ комкор. Мы полагаем, что это даже не позиция, а убийственное, безграмотное, скоропалительное решение, которое может обернуться полным разгромом наших войск. Ты, комкор, думаешь: пришел-увидел-победил! Ты, судя по всему, считаешь, что тут собрались одни дураки, ничего не

смыслящие в военном деле! – гремел в тесном блиндаже с низкими потолками голос Кулика, надвигающегося на Жукова своим массивным телом. – Тебе славы захотелось? Шапками, мол, закидаем! Мы не позволим тебе, комкор, посылать бронеприкрытия на безжалостное уничтожение. Это тебе не шашкой махать! Выслужиться хочешь? И не мечтай! Под трибунал пойдешь – вот чего ты дождешься!

Жуков, набычившись, слушал ожесточенные слова командарма Кулика. Он видел по лицам присутствующих в блиндаже, что все они солидарны с ним. Что на них давит его прошлое, когда он успешно командовал артиллерией под Царицыном на глазах самого Сталина. Такое не забывается.

И Жуков пошел на попятную:

– Хорошо. Пусть будет по-вашему. Но я свою точку зрения буду отстаивать перед товарищем Ворошиловым. А пока, в любом случае, бронеприкрытия необходимо подтянуть поближе к линии фронта.

– Это совсем другое дело! – с облегчением воскликнул командарм Штерн.

Миновал час, другой – Москва молчала.

Жуков нервничал.

Покинув блиндаж, он вышагивал в узком ходе сообщения от поворота до поворота, заложив за спину руки. И все прикидывал, что можно ожидать в том или ином случае. И его вариант представлялся ему единственным в данной ситуации.

Наконец звонок из Москвы. В трубке зазвучал голос Ворошилова, искаженный огромным расстоянием.

– План Жукова Генштаб рассматривает как единственно правильный в данных условиях.

Кулик лишь передернул крутыми плечами. Штерн развел руками. Произнес:

– Что ж, будем надеяться на лучший исход.

Молча повернувшись к выходу, Жуков наткнулся на ожидающий взгляд начальника разведки фронта. Проскрипел: – И тебе тут тоже делать нечего. Проспал сосредоточение японцев на правом фланге? Проспал. Так теперь о сие позабудь. Мне надо знать о противнике все: сколько, где и когда? И не завтра, а сегодня. Еще раз проспишь, пойдешь под трибунал.

Покинув командный пункт, Жуков по ходу сообщения прошел на пункт связи и продиктовал шифровальщику приказ: «Бронеприкрытиям немедленно выступить в район боев. Направление – гора Баин-Цаган. Окончательное решение на боевую операцию получите на месте. Комкор Жуков».

Получив подтверждение о том, что приказ принят, приказал подать машину.

С юга доносилось погромохивание артиллерии, приглушенное расстоянием. Там, на правом фланге, – а это примерно в сорока километрах отсюда, – мерцали еле заметные зарницы артиллерийских залпов. Жуков поморщился: это и его промашка – такое развитие событий он обязан был предусмотреть. Однако странно, что японцы молчат здесь, на левом фланге. По всем правилам тактики они должны сковать наши войска на всем протяжении фронта, чтобы не позволить им маневрировать. Может, знают, что нам нечем маневрировать? Черт знает, что у них в голове!

И будто накликал: японцы открыли огонь из орудий по нашим позициям на плацдарме.

Но это уже не могло остановить Жукова. Сев в машину на заднее сидение, он надвинул на глаза фуражку и уткнулся подбородком в грудь. Машина катила по пыльной дороге, впереди броневик, сзади машина охраны. Жуков дремал, стараясь ни о чем не думать, чтобы дать отдохнуть уставшей голове. Он ехал на правый фланг своего фронта, туда, где – он чувствовал – сегодня должна решиться если не вся кампания, то как бы прелюдия к ней.

На востоке занималась багровая заря.

Глава 16

Багровая заря только еще занималась над голой – без единого деревца или кустика – степью, когда командиры батальонов были срочно собраны в палатке командира танковой бригады комбрига Яковлева и им была прочитана телеграмма командующего группой войск комкора Жукова. И через несколько минут среди длинных рядов палаток, выгоревших на солнце до белизны, зазвучали отрывистые вопли сигнальных труб. Вопли эти через минуту выбросили из палаток молодых парней, на ходу застегивающих синие танкистские комбинезоны и перепоясывающихся ремнями. Парни строились и замирали, ожидая команды, прислушиваясь к густому, все разрастающемуся гулу многочисленных моторов, доносящихся со стороны располагавшихся неподалеку аэродромов.

Затем вдоль строя побежали командиры танковых рот, их зычные голоса покрыли все посторонние звуки:

– Расчехлить машины! Старшинам выдать экипажам сухой паек на три дня! Приготовиться к движению!

Выдергивались колья, сползал брезент, открывая замаскированные под палатки танки и бронемашин, сизые дымы взревших моторов окутывали стоянки бронебригад. И вот, медленно разворачиваясь лицом к всплывающему над степью солнцу, повинаясь сигнальным флажкам командиров батальонов и рот, выстраиваясь в широкую лавину, вся эта махина числом не менее четырех сотен, двинулась на восток, давя гусеницами и колесами пожухлую траву и сурчиные норы, вздымая бурые тучи пыли.

* * *

«Ну, наконец-то, – мысленно произнес командир первой роты третьего танкового батальона двадцатилетний старший лейтенант Гаврилов, торча по пояс из люка своего танка БТ-5. Он с гордостью оглядывал пришедшую в движение стальную лавину: танковая бригада впереди, за нею две бригады бронемашин. И, чтобы завершить мысль, сам себе пояснил: – А то стоим-стоим, ждем-ждем, а чего стоим, чего ждем – и сами не знаем».

Бригада стояла всего четыре дня с той поры, как последняя танковая рота прибыла в пункт назначения, да и стояла не просто так: экипажи чистились от пыли, которая залепила машины толстым слоем, набившись во все углы, меняли воздушные и масляные фильтры, клапана, подтягивали гусеницы, пристреливали пушки и пулеметы, сами отмывались от той же пыли и копоти, но всем казалось, что стояние и ожидание длится слишком долго, потому что не для того же шли сюда через горы, пески, форсировали ручьи и реки, чтобы ждать, а шли, чтобы поскорее врезаться япошкам по первое число.

Это самое «по первое число» стало притчей во языцех, хотя никто не знал, откуда оно пошло. Говорили, что на озере Хасан, где тоже схлестнулись с япошками, но годом раньше, танкам развернуться было негде, поэтому, мол, и потери в пехотных батальонах оказались значительно большими, чем ожидали, и драки приличной не получилось. А надо было бы еще там так турнуть этих задиристых самураев, чтобы им не повадно было во второй раз испытывать судьбу. Но теперь-то уж им достанется, и тогда те русские солдаты, что полегли на сопках Манчжурии, наконец успокоятся в своих тесных могилах. И хотя Гаврилов знал, что тем солдатам все равно, зато ему и его товарищам было далеко не все равно, а они дети и внуки тех зазря погибших солдат, следовательно, должны помнить и отомстить.

Впереди танковой лавы двигалась командирская машина, снабженная радиостанцией. Справа и слева от нее танки командиров батальонов, тоже имевших приемо-передающие рации. Антенны этих раций представляли собой что-то вроде короны, полукольцом охваты-

вающей башню, или специального поручня для танкового десанта, хотя десант на танках никто не возил: некуда на них сажать, там и стоя не удержишься. Танки с рациями были и у командиров рот, но работающие исключительно на прием. Рации не отличались надежностью, поэтому у всех командиров, в том числе и у командира бригады комбрига Яковлева, имелись белые и красные флажки, с помощью которых команды дублировались, а командиры рот только ими и пользовались, доводя свои команды до подчиненных им экипажей. Все понимали неудобство такой многоступенчатой связи, но – ничего не поделаешь: радио-промышленность в стране Советов еще только создавалась и не могла обеспечить своей продукцией ни множество новых танков и самолетов, ни командиров полков и даже дивизий.

Степь во все стороны лежала ровным желтовато-бурым ковром, лишь бугорки, обозначающие норы сусликов, нарушали ее унылое однообразие. В такой степи не нужны дороги, здесь главное – направление, думал старший лейтенант Гаврилов, потому что не думать не мог, а думать можно было только о том, что видели его глаза. Он представил, какой неожиданностью для японцев окажется появление советских танков на поле боя, и вспомнил, как в танковом училище изучали сражения древности, какой неожиданностью для армии Александра Македонского оказались боевые слоны, когда его войска, вторгшись в Индию, столкнулись с тамошними войсками. Вот и для японцев будет то же самое, решил Гаврилов, уверенный, что японцы их не ждут и побегут от одного вида этой лавины. В сущности, в самой картине войны ничего за сотни и сотни лет не изменилось, кроме оружия, продолжал он рассуждать, следя одновременно и за командирскими танками, и за танками своей роты. Движемся наподобие стада баранов или коров за своим вожаком. Но если у коров и овец в самом инстинкте заложено такое следование, то у нас, у танкистов, – как, впрочем, говорят, и у летчиков, – подобное следование подчинено команде «Делай как я!» А в принципе – одно и то же. Как и у древних воинов.

За спиной старшего лейтенанта Гаврилова все тонуло в густой бурой пыли. Пыль висела в воздухе и, похоже, никуда не двигалась, отчего следующие за танковой бригадой бронепоезда вскоре пропали из вида. Возможно, они отстали, потому что в густой пыли ориентироваться совершенно невозможно, и если в таком порядке придется атаковать японцев, то неизвестно, что из этого получится. Впрочем, начальству виднее, а дело командира роты – выполнять приказы. Авось как-нибудь разберемся, решил Гаврилов. И тут же вспомнил, что с утра ничего не ел, следовательно, надо бы чего-нибудь пожевать. Он наклонился в люк и, тронув заряжающего за плечо, прокричал:

– Там у нас есть чего-нибудь перекусить?

Однако заряжающий его не понял из-за адского рева своего и сотен других моторов, и Гаврилов продублировал слова руками и ртом, что хочет чего-нибудь ням-ням. Заряжающий, рыжеволосый парень со Смоленщины, радостно заулыбался и покивал головой. Через несколько минут Гаврилов жевал сухарь со свиной тушенкой, доставая ее из банки алюминиевой ложкой. Танк мотало на неровностях, Гаврилова мотало тоже, и ему приходилось выбирать мгновения, чтобы сунуть ложку в рот и не промахнуться. Запив завтрак тепловатой водой из фляги, он почувствовал себя совершенно счастливым: он давно мечтал о настоящих боях, и вот мечта его становится реальностью.

И тут же новые мысли пришли ему в голову.

Такая спешка должна иметь какие-то основания, решил он. Подумал-подумал и пришел к выводу, что в районе неведомой ему реки Халхин-Гол что-то произошло. Может, даже не в нашу пользу. Потому что, как говорили старожилы этих мест, с самого мая, когда японцы вторглись на территорию Монгольской республики, наши войска все топчутся на одном месте, отбивая их атаки и неся большие потери. Подробностей Гаврилов не знал, их, скорее всего, не знал и комбриг Яковлев. Не знал Гаврилов, какие у японцев войска, чем вооружены, хорошо ли дерутся, что собой представляет их противотанковая артиллерия и танки. Если

вспомнить войну с ними в 1904 году, то напрашивается вывод не из самых оптимистических. Но то была царская армия с царскими же генералами, продажными и тупыми, а советская армия царской не чета. Во всяком случае, у озера Хасан япошек побили, следовательно, не такие уж они непобедимые. Вот придем на место там и узнаем, утешил себя Гаврилов. Но нервное напряжение: как-то оно еще получится – осталось. И думать уже ни о чем не хотелось.

И тут слух его уловил совсем другой по тональности гул, сползающий сверху и будто придавливающий все, что двигалось вниз. Гаврилов вскинул голову и увидел десятки наших самолетов, волна за волной наплывающих из-за спины в том же направлении.

«Ну, теперь-то уж точно мы им врежем по первое число», – подумал он с удовлетворением, провожая глазами тяжелые и неуклюжие бомбовозы, над которыми, опережая их, скользили стайки маленьких и юрких истребителей. Столько самолетов одновременно видеть над своей головой старшему лейтенанту Гаврилову не доводилось.

Глава 17

Солнце светило прямо в лицо. Даже темные очки не помогали. И лейтенант Василий Дмитриев, несколько раз с силой зажмурив глаза, глянул вниз, чтобы глаза немного отдохнули от света. Внизу лежала выжженная степь, но не однообразно бурая, а будто шкура какого-то животного: с темными и светлыми пятнами, с черными полосами оврагов и яркими макушками холмов. По этой шкуре скользили тени летящих ниже бомбардировщиков. Ярko бликовали стекла их фонарей и диски пропеллеров. Потом глубоко внизу возникло широкое пыльное облако, будто невидимый трактор тащил за собой гигантскую борону. Сверху казалось, что облако стоит на месте, однако оно все-таки двигалось на север, как бы волоча за собой шлейф, хотя и не так быстро, а там, где облако было гуще, стали различимыми черные жуки – то ли танки, то ли машины, – которые и рождали это облако.

«Знатное зрелище», – возникло в голове Дмитриева и от вида степи, и ползущего по ней облака. А может быть, вовсе и не в голове, а сразу во всем теле, потому что тело наполнилось удивительной легкостью. Впрочем, не имело никакого значения, что было внизу и вокруг, потому что такие восклицания рождает в нем каждый полет, и чем больше подобных восклицаний рождалось, тем счастливее чувствовал он себя, – буквально до того, что через какое-то время хотелось то ли петь, то ли плакать. А ведь Дмитриев был далеко не зеленым салагой, которому все внове: летает самостоятельно уже третий год, в Монголии второй месяц, с япошками успел схлестнуться, имел на своем счету один сбитый пикировщик и один подбитый истребитель. Правда, и самому однажды досталось так, что даже не дотянул до своего аэродрома, сел в степи да еще сломал правую стойку шасси. Но это исключительно потому, что летал на И-15, а у того скорость значительно ниже, чем у японских «москитов», а сегодня летит на «Чайке» – тоже биплан, но скоростишка на добрую сотню километров больше при той же самой маневренности, то есть не только не уступает японцам, но и превосходит почти на двадцать км/ч. И сегодня должно состояться боевое крещение и новому самолету, и ему, летчику нового самолета, потому что каждый самолет требует к себе особого отношения, а лишние сто км/ч скорости – это не просто цифры, а новое ощущение полета, осознание того, что ты *его* можешь догнать, а *он* тебя нет, что сближение с целью происходит быстрее, что радиус виража больше, и нагрузки тоже. И вообще, сто км/ч – это практически новый самолет, а он на нем отлетал всего двенадцать часов, а за эти часы машину хорошо не узнаешь.

Вдали все четче прорисовывались сквозь солнечную дымку бурые холмы и песчаные барханы, меж которыми в обрамлении еще зеленого камыша и низкорослых ив течет река Халхин-Гол. Над ними там и сям тоже висят бурые облака, вспыхивают острые огоньки оружейных выстрелов. Там, внизу, идет бой.

И тут Дмитриев краем глаза заметил, как ведущий командир звена «Чаяк» старший лейтенант Лешка Михайлов покачал крыльями, что означало: «Внимание! Противник!», и Дмитриев, глянув вперед, заметил черные точки, пересекающие солнечный диск. Японцы! Но метров на пятьсот ниже. И сознание сразу же переключилось исключительно на эти точки, которые росли с поразительной быстротой.

«Ну, косоглазые, держитесь!» – воскликнул Дмитриев, и даже, может быть, в полный голос, который даже он сам не мог расслышать из-за рева мотора, и потянулся к рычажку уборки шасси: они специально шли с выпущенными шасси, чтобы японцы подумали, что будут иметь дело с прежними самолетами, поведение которых в бою они изучили до тонкостей и даже имели инструкцию, как против них действовать, чтобы непременно побеждать. Пусть думают!

Вот впереди летящие «Чайки» стали подбирать под себя «ноги», и Дмитриев нажал на рычажок, а через несколько секунд почувствовал, как машина слегка вздрогнула, будто

освободившись от ненужного груза, и на панели зажглись зеленые лампочки: «ноги» встали на место, створки захлопнулись, сопротивление встречному воздушному потоку снизилось, скорость возросла. То-то же япошки ахнут! То-то же они сегодня почешутся, то-то же им, бедолагам, достанется!

Снова ведущий покачал крыльями, что означало: атакуем, делай как я! – и звено «Чаяк» свалилось в пике на левое крыло, выровнялось и бросилось сверху на японские истребители, пытающиеся атаковать наших «бомбёров».

Вот *они*, вот... заметили... полезли вверх... пульсируют огоньки пулеметов... дымные трассы проносятся над головой... еще немного... еще чуть-чуть... пора! – палец жмет на гашетку, лихорадка охватывает машину, дымные трассы уходят вниз, впиваются в капот, кабину летчика... летят куски плекса, ошметки обшивки крыла... что, съел? то-то же! знай наших!.. штурвал на себя и... и все звено, сделав «мертвую петлю», снова кидается в атаку... теперь уже на японских бомбардировщиков. И еще атака. И еще.

Один из них уходил, дымя, за реку. Дмитриев кинулся за ним, догнал, палец вдавил гашетку – rrrrr-ру! – но очередь оборвалась как-то вдруг, сама по себе: патроны – ку-ку! А-а, черт бы вас побрал! Таранить? А вдруг винт в дребезги? И что потом? Садиться на их территорию? Прыгать с парашютом? Чтобы из тебя самураи котлет наделали? Нет уж, увольте. Как-нибудь в другой раз.

И Дмитриев развернулся и пошел догонять своих. И все оглядывался: дотянул японец или нет?

Самолет ткнулся колесами в бурую землю, побежал туда, где полоскалась на ветру полосатая «колбаса». Чуть левее сел командир звена Михайлов, еще левее – лейтенант Стригунов. Слава богу – все целы.

Дмитриев, выруливая на стоянку, стащил с головы шлем, отер им потное лицо. Нажал на тормоза, выключил зажигание. И сразу же навалилась тишина.

Сегодня он сбил двоих. Может, и больше. Но двоих – это совершенно точно.

Глава 18

На подходе к передовой на танковые шеренги налетели японские пикирующие бомбардировщики. Штук пятьдесят, не меньше. Но пикировать им не дали наши истребители, заставив сбросить бомбы на пролете. Однако бомбы ложились густо, и танки как бы входили в это рвущееся на части пространство, погружаясь в клубы дыма и пыли.

Чтобы не искушать судьбу, Гаврилов опустил на свое командирское сидение и захлопнул за собой люк.

Едва отбомбили самолеты, начала бить артиллерия. Тяжелые снаряды вздымали огромные кусты песка и дыма, пронизанные стрелами огня. Это тебе не взрыв-пакеты, которые посредники взрывают на маневрах, это рвет землю самая настоящая смерть. Но, странное дело, никакого страха Гаврилов ни от бомбежки, ни от артобстрела не испытал. Конечно, что-то было, потому что тело напряглось, зрение стало острее, когда видишь многое, чего не замечал раньше, хотя бы ту же траву, далекие еще холмы, а над ними удивительно голубое небо.

В наушниках засипело, и послышался хриплый, искаженный голос командира батальона:

– Гаврилов! Слушай меня внимательно. Твоя рота атакует юго-западный склон высоты Баин-Цаган. Идти на полной скорости. Сходу ворваться в окопы, давить и расстреливать противника из всех видов оружия. За тобой идет рота бронемашин. Они вряд ли смогут одолеть подъем. Рассчитывай на себя. Сзади уступом идет вторая рота. Все! Вперед!

«Я и так иду вперед», – подумал Гаврилов, доставая планшетку и отыскивая на ней означенную высоту. До нее еще было, если верить дальномеру, три километра. Значит, его роте идти первой в своем батальоне. И что – без пехоты? Или пехота сзади? Впрочем, какое это имеет значение?

Гаврилов открыл люк и, взяв флажки, высунулся по пояс и просемафорил, в каком направлении двигаться его роте, на какой скорости и в каком порядке. Командиры взводов флажками же подтвердили, что приказ поняли и готовы исполнять.

Опустившись на сидение, Гаврилов крикнул механику-водителю:

– Механик! Полный вперед! Пулеметчик! Расстреливать все, что движется. Заряжающий! Подавать только фугасные.

Двигатель взревел, машина, рванувшись, понеслась.

Прижавшись лбом к резиновому тубусу прицела, Гаврилов смотрел, как кидалась степь под гусеницы танка, как росла высота, заслоняя полнеба. Впереди у него не было никого. И назад не оглянешься, и по сторонам смотреть не досуг.

«Километров пятьдесят, пожалуй, выжимаем, – прикинул Гаврилов, до рези в глазах вглядываясь в наплывающий в перекрестие прицела склон высоты, большая часть которого еще не была освещена солнцем. – Это, пожалуй, не так уж и плохо, – подумал он, имея в виду, что в тени четче будут видны вспышки выстрелов противотанковых орудий... если они у японцев имеются. – Ну, господи, пронеси и помилуй!» – зло пробормотал он, заметив первый выстрел, уверенный, однако, что «господу» до него нет никакого дела.

После первого выстрела, замелькало часто и по всему гребню. Это было неожиданно. Гаврилов, и не он один, почему-то считал, что японцы не имеют ничего из того, что имеет Красная армия, потому что им, японцам, ничего такого и не нужно, чтобы воевать с китайцами и прочими азиатами.

– Снаряд! – крикнул Гаврилов.

Сбоку лязгнул затвор.

Прицел прыгал, никак не попадая на цель, которая обнаружила себя уже третьим выскерком. Гаврилов нажал на спусковую педаль. Почти впритирку к нему отскочил казенник орудия и вернулся на место. Лязгнул затвор за следующим снарядом. Если первый снаряд ушел, похоже, в «молоко», то второй ударил ниже, взвихрив песок. А танк уже лез вверх, скорость упала.

В башню ударило сбоку, оставив в ушах пронзительный звон.

Над гребнем взметались все новые и новые разрывы, густо взлетали фонтанчики песка от пулеметных очередей. Уже видны орудия, щитки и припавшие к ним человеческие фигурки. Почти не замолкая, трещал пулемет. Сразу два снаряда ударили в танк и опять по касательной. Хлестанула, точно град, пулеметная очередь. Пока все в лоб, где броня посильнее.

Гаврилов ловил в прицел все новые и новые цели, автоматически жал на педаль, но попадал ли он туда, куда целил, уверенности не было: над японскими позициями метались разрывы снарядов, и где чей снаряд разорвался, определить было практически невозможно...

И вот они – позиции.

Танк подпрыгнул на бруствере, всей тушей рухнул на припавшую к песчаной площадке пушку, перепрыгнул через окоп, прокатил немного.

– Разворачивай! – крикнул Гаврилов. – Не останавливаться!

Танк развернулся на месте и попер вдоль позиций, давя пушки и разбегающихся во все стороны солдат. Так пронеслись метров сто или чуть больше. И вдруг – жвах! – машина дернулась и закрутилась на месте, с лязгом сматывая левую гусеницу. Затем танк осел и затих, скособочившись.

«Ну, сейчас врежут!» – подумал Гаврилов, вращая башню, стараясь хотя бы таким образом не терять из виду поле боя, которое затягивало дымом от горящих танков и бронемашин.

– Пулеметчик! – крикнул Гаврилов. – В нижний люк! Прикрыть машину огнем.

В прицел была видна часть дуги японских ячеек, опоясывающих высоту. В этой видимой части еще стреляли орудия, и Гаврилов стал стрелять по этим орудиям. Под днищем танка затрещал «дегтярев».

– Фугасных больше нету! – крикнул заряжающий. – Остались бронебойные.

– Вылезай. Поможешь натянуть гусеницу, – приказал Гаврилов, а сам открыл башенный люк, высунул голову и огляделся. То, что он увидел, потрясло его до такой степени, что он, забывшись, высунулся по грудь, хотя кругом рвались снаряды, свистели пули и визжали осколки.

Все видимое пространство было наполнено горящими танками и бронемашинами. Вдалеке их было меньше, но чем ближе к вершине, тем гуще они стояли. Гаврилов прикинул, что осталось от его роты, получалось всего три-четыре танка из шестнадцати. Даже если иметь в виду и его собственный, подбитый. Больше всего их горело или просто дымило перед самыми позициями противника и вокруг. Но особенно много таких костров было в центре. А между ними горели броневики, иные сумевшие добраться почти до самой линии ячеек и артиллерийских позиций.

«Это что же такое получается?» – спросил у самого себя Гаврилов, не находя ни объяснения этой бойне, не видя ни смысла в ней, ни положительного результата.

В откинутую крышку люка звонко ударила пуля, и Гаврилов, вздрогнув, пришел в себя и сел на свое командирское сидение. Затем, спохватившись, полез вниз. Сидеть в танке, представляющем прекрасную мишень для артиллеристов, было смертельно опасно. Даже пуля могла пробить бортовую броню. А за этой броней баки с горючим – выскочить не успеешь. Вывалившись через узкий нижний люк на песок, пропитанный маслом, он приказал экипажу

перебраться на ближайшую японскую артиллерийскую позицию: там, вокруг орудия, имелись индивидуальные ячейки для прислуги, в которых можно отсидеться, а если противник атакует, то и отстреливаться.

Орудие было цело, даже прицел не разбит, но прислуга частью погибла, частью, похоже, удрала. Один артиллерист полулежал у прицела, другой свесился со станины, выронив из рук снаряд, который так и не успел вставить в казенник. Еще один японец был полужасыпан песком, другой лежал на ящиках со снарядами чуть сзади и стонал.

Бой продолжал грохотать, но уже за пределами видимости. Оттуда доносился рев моторов, пушечная и пулеметная пальба.

– И что теперь нам делать, командир? – спросил механик водитель Иван Гудинин, родом из Иркутска.

– Сперва оглядеться, – произнес Гаврилов. Затем более уверенно: – Где-то тут вокруг остались японцы. Глупо попасть им на мушку. Это во-первых. Во-вторых, надо связаться с нашими: кто-то же остался в живых. Собраться вместе. Значит, так. Коровин, бери Сонникова: прочешите местность метров на двести к вершине. Встретитесь с японцами, действуйте по обстоятельствам. Но особенно не церемоньтесь: говорят, в плен они сдаются неохотно. Налгайте на гранаты. Поднимитесь на гребень, посмотрите, что на той стороне, то есть где наши, где противник. Встретите наших с подбитых танков, посылайте сюда. А мы с Гудининым попробуем натянуть гусеницу.

Глава 19

Комкор Жуков наблюдал за атакой бронепригод на позиции японцев с вершины горы Хамар-Даба. Здесь был его командный пункт, глубоко зарытый в землю, здесь имелась прямая связь не только со всеми подразделениями, в том числе и с резервами, но и с Москвой, отсюда открывалась панорама значительной части своих и японских позиций. Хотя Жуков знал, что бронепригоды, не имея ни артиллерийской поддержки, ни других родов войск, за исключением разве что авиации, понесут большие потери, но за этим определением «большие потери» не стояло ничего определенного. Потери могли исчисляться десятками танков и бронемашин, и это тоже было много, в худшем случае этих десятков могло оказаться значительно больше. В любом случае, игра, что называется, стоила, свеч. Да и не бывает война без потерь. Уж кто-кто, а Жуков через это прошел как в Первую мировую, так и в гражданскую. Но в том далеком прошлом, уже под конец всех баталь, ему довелось командовать – самое большее – эскадром, то есть не более двухсот человек. И было это на Тамбовщине при подавлении восстания крестьян под руководством Антонова. И командовал Жуков не с какого-то командного пункта, а с шашкой в руке, впереди своего эскадрона. Там смерть витала над головами всех – и над его тоже, и голову свою жалеть и прятать не приходилось. Прячущие и жалеющие командиры не становились, они вообще долго не жили в обстановке взаимного истребления, когда жизнь любого стоила дешевле патронов и лошадей. Война списывала со своих счетов всё: и победы, и поражения, и чью-то глупость, и чью-то трусость, и чью-то бесшабашность.

За полчаса до атаки бронепригод позиции японцев проутюжила наша авиация. Самолеты шли на высоте примерно в тысячу метров, сыпая из своих бомболюков бомбы, как сеятель сыплет из лукошка семена, шли, засевая песчаные барханы и холмы смертью, в сплошной завесе разрывов зенитных снарядов, и многие не дошли или были сбиты за рекой над японскими позициями. Как, впрочем, и японские бомбардировщики, пытавшиеся атаковать бронепригоды на подходе. А потом небо очистилось и танки пошли в атаку. Они шли густо, стреляя на ходу, но зарытых в землю противотанковых пушек, уцелевших во время бомбежек, оказалось значительно больше, чем можно было предположить. Особенно на горе Баин-Цаган. И танки начали гореть. И чем ближе они подходили к позициям артиллерии, тем больше их останавливалось, взрывалось и загоралось. И у Жукова возникло ощущение, что они так и не дойдут до японских позиций, сгорят все до единого. Или у танкистов не выдержат нервы, и они повернут свои машины назад. И это будет не просто неудачная атака бронепригод, не предусмотренная никакими правилами, это будет его, Жукова, поражение.

Но никто назад не повернул. И до позиций кое-что дошло, но вряд ли больше половины. И не только до позиций, но и до переправ, по которым уже началось бегство тыловых японских частей. Затем переправы были взорваны, и те, кто побежал к ним с передовых позиций, были расстреляны или раздавлены на берегу, или утонули в реке. Пленных было совсем немного.

И когда все кончилось, Жуков вздохнул с облегчением: да, он рисковал; да, он поставил на карту все, в том числе и свою жизнь. Да, рассчитать итоги такой атаки было невозможно. Но этот свой первый бой он все-таки выиграл. А те, кто не верил в возможность выигрыша, теперь утратят с досады. Следовательно, он выиграет и всю кампанию. Он верил в это и раньше, еще когда только летел сюда, не зная, что его ожидает. Тем больше у него оснований верить в конечную победу сегодня. Главное – не идти на поводу у противника, опережать его хотя бы на два-три шага, переиграть, перехитрить, заставить его думать и действовать в том направлении, которое выгодно для тебя – и тогда победа будет обеспечена.

Глава 20

Я!

Теперь это местоимение иногда будет встречаться на страницах книги, которую ты, мой терпеливый читатель, дочитал до этой главы. Я и есть ее автор, Мануйлов Виктор Васильевич.

Я попытаюсь рассказать тебе о своем детстве и юности: ведь лучше меня это никто не сделает. Тем более что это детство и юность отчасти приходится на годы, которые я пытаюсь отразить в своем романе, и они мало чем отличаются от детства и юности большинства моих сверстников. Обычная вещь: рядом с отцами, матерями, их отцами и матерями и так далее, подрастают их дети, внуки и правнуки, перенимая у старших поколений все то, что эти поколения впитали в себя за прожитые годы... и как менялись их представления об окружающем мире, что нового появилось и что осталось от прежнего.

И если ты, дорогой мой читатель, осилил предыдущие шесть книг, то я очень надеюсь, что ты осилишь и остальные. А я со своей стороны буду очень стараться, чтобы интерес к роману у тебя не пропадал до самой последней страницы.

Впрочем, все эти рассуждения направлены в будущее, до которого еще надо дожить. А пока мы вступили лишь в 1939 год.

Так вот...

Я помню себя примерно с эти лет. И даже не столько самого себя, сколько часть того мира, что меня окружал, то есть отдельные сценки из той ленинградской жизни, в которой я располагался в самой, естественно, ее середине. Что случилось месяцем раньше, а что позже, сегодня, по прошествии многих лет, я с полной уверенностью сказать не могу, тем более – связать некоторые сценки между собой. Эти сценки возникают в моей памяти, похожие на освещенные узким лучом фонарика отдельные предметы полузабытого интерьера. А вокруг этих предметов чернота. Луч фонарика скользит в этой черноте, замирает на полузабытом предмете, который трудно связать с тем, что он осветил до этого. Но поскольку я пишу роман, то разрозненные предметы под моим пером соединяются, образуя некую вполне законченную картину, картины выстраиваются в определенной последовательности, возникает связь с известными событиями, в том числе и мирового значения. Сам же я, естественно, в мировых значениях в ту пору ничего смыслить не мог, но точно знаю теперь, когда пишу эти строки, что они так или иначе оказывали решительное влияние на мою судьбу. Как и на судьбы миллионов и миллионов людей, живущих не только в Ленинграде.

Жили мы в ту пору в тихом переулке, куда не долетали никакие звуки большого города. Дом наш был двухэтажным, дощатым, с двускатной железной крышей и постоянно дымищими трубами. Сам дом выкрашен охрой, наличники на окнах и двери единственного подъезда с крыльцом о две ступеньки – суриком. Крыльцо помещалось в самом углу дома, а сбоку от него висела длинная водосточная труба, и если по ней хорошенько постучать палкой, она начинала дребезжать и гудеть еще какое-то время, будто в ней кто-то сидит и ворчит, потревоженный стуком.

Мы жили на втором этаже, куда вела скрипучая деревянная лестница с деревянными же перилами. Перед дверью коммунальной квартиры лежал коврик, о который надо вытирать ноги. На двери висели плоские почтовые ящики из тонкой жести, они тоже недовольно дребезжали, если их потревожить. Лестничную площадку освещало тусклое окошко, а когда открывалась дверь, возникал длинный полумрак узкого коридора, в самом конце которого располагалась комната, в которой жили я, моя сестренка, мама и папа. По коридору нужно было ходить тихо, не кричать и не топтать ногами, потому что соседи могут рассердиться.

Переулоч, в котором стоял наш дом, назывался Лесным, вдоль него росли высокие, толстые сосны, а за домом стоял сарай, очень похожий на дом, но не выше первого этажа и только с одним маленьким окошком, зато с такой же железной крышей. В сарае держали дрова и всякий хлам. Еще там были две крохотные комнатки, очень таинственные и темные. Входить в эти комнатки со свету страшно, зато когда войдешь, то через открытую дверь видно всех, а тебя не видит никто.

В одной из комнаток папа иногда печатает фотографии. Это так интересно: красный свет, красно-белая бумага – и вдруг на ней появляются деревья, дома, человеки, мама, папа и я сам. Чтобы у меня на бумаге появились человеки, танки, корабли, самолеты, дома и все остальное, нужно долго рисовать цветными карандашами деревья, небо и траву. А мама с папой все равно не появляются. И сам я тоже. Только руки, ноги, туловища и головы с волосами. Это потому, что я маленький и еще не научился рисовать маму и папу. И себя тоже. А все остальное научился. Особенно танки. А у папы все получается быстро и очень похоже. И без карандашей. Но танки у него не получаются.

Рядом с сараем навес, под навесом столик, плотным кольцом окруженный широкими лавками на толстых ногах. Наверное, для того, чтобы столик не сбежал из-под навеса, потому что какому же столику понравится, когда вокруг собираются большие дяди и стучат по его крышке со всего размаху черными такими штучками с белыми пятнышками. Это очень неприятно и больно. Уж я-то знаю. Особенно если мама шлепает по толстой ноге нашего комнатного стола ремешком, когда я об эту ногу ударяюсь головой и начинаю реветь от боли. Мама шлепает стол и приговаривает: «А-та-та! А-та-та! Пусть болит у кота, у собачки болит, у стола болит, а у Витюшки не болит!» Даже когда мама ставит на стол тарелки, а я сижу под столом, где провожу большую часть дня, занятый своими игрушками, и то возникает такой грохот, что долго не усидишь. Поэтому я тут же вылезаю из-под стола и отправляюсь на кухню мыть руки. И даже в том случае, когда мне совсем не хочется есть.

За домом же, прямо под окнами, разбит палисадник, огороженный невысоким заборчиком. Я – и то на голову выше этого заборчика. За заборчиком большая клумба с бархатно-коричневыми, бархатно-синими и бархатно-черными цветами. Таких цветов я больше никогда не видел, но в памяти прочно застряли именно такие необычные цветы. И с этим ничего не поделаешь. А еще какой-то дед, высывающийся из окна второго этажа со своей лохматой седой бородой и черным шлангом. Из шланга идет дождь, капли блестят на солнце, на зеленых листьях и необыкновенных цветах. Кроме как в окне я этого деда почему-то нигде не видел. Из другого окна высывается тетя и кричит противным голосом: «Софи! Софи-и! Софи-и-ии!» И дяди, стучащие по столу, ворчат: «Ну, завелась с утра пораньше, утроба ненасытная!» И еще что-то непонятное, после чего папа говорит: «Потише, мужики, ребенок рядом!» «Пусть учится», – говорят мужики. Тогда папа говорит: «Иди, Витюшка, гуляй. Нечего тебе здесь торчать».

И я иду гулять.

В доме много ребятишек, старше и младше меня, а таких, как я, нету. С малышкой играть не интересно, старшим не интересно со мной. Поэтому я играю один. Поэтому же я плохо говорю, потому что не с кем. И мне совсем не хочется говорить хорошо. Мне нравится говорить плохо. Но в нашем доме на первом этаже живет девчонка по имени Мара, тощая и вредная. Она уже большая – выше меня на целую голову, и передразнивает меня, показывая красный язык. А еще она все время лузгает семечки, грызет орехи и плюет скорлупой во все стороны. И в меня тоже. Я сперва думал, что так оно и должно быть, чтобы на меня плевали. Но однажды моя мама сказала маме этой Мары, что плевать на ребенка нехорошо. Марина мама сказала, что ее дочка ни на кого не плюет. Как же не плюет, сказала моя мама, если она все время плюет. И на других детей тоже. А Марина мама ничего не сказала и отвернулась.

После этого Мара стала плевать еще больше. Но после разговора моей мамы с мариной мамой я догадался, что это плохо, когда на тебя плюют. И однажды чем-то ударил Мару – аж до крови. Кровь текла по ее руке длинными тягучими струйками. Возможно, я использовал в качестве оружия палку, а в палке той был гвоздь. Или еще что-то острое, случайно подвернувшееся под руку. Не знаю. Мы оба орали – она от боли и страха, я только от страха. Первой к месту сражения прибежала мариная мама, схватила меня за волосы и начала дергать за них, а потом и за уши. И кричать. Потом прибежала моя мама, отняла меня и тоже стала кричать. Потом прибежали еще какие-то тети и дяди и тоже закричали друг на друга. А папа не прибежал, потому что работал на заводе.

С тех пор за мной закрепилась кличка «хулиган». Когда меня спрашивали, как меня зовут, я с гордостью отвечал: «Унаик-Фуган». Слово образовалось из слов «озорник и хулиган», слов длинных и трудно выговариваемых. Я укорачивал слова по своему росту, но далеко не все взрослые меня понимали. Зато эти слова нравились моему папе. Он трепал меня по голове тяжелой рукой и говорил какому-нибудь дяде, что я умею постоять за себя.

Разумеется, всех подробностей я не помню. Зато помнила моя мама. Она-то и рассказывала мне, когда я подросток, каким я был в те годы. И часто при мне рассказывала другим мамам. А другие мамы рассказывали ей про своих детей. И почти то же самое.

В нашей маленькой комнате всего два окна, одно смотрит на улицу, другое на кусты и деревья. Во второе окно смотреть не интересно. К тому же к нему не подойдешь: возле окна стоит кровать моей сестренки, которую зовут Людмилкой. Из окна, что выходит на улицу, видно несколько сосен, забор на той стороне, за забором старый дом, который все время спит или о чем-то думает – о чем-то очень невеселом, и кусочек дороги, по которой иногда ездит телега с одной лошадью и ходят люди. Я редко смотрю в окна: там все время одно и то же. А если зима, то дед Мороз так разрисовывает стекла всякими перьями и кустами, что через них ничего не видно.

В нашей комнате очень тесно: платяной шкаф, папы-мамина кровать, кровать моей еще совсем маленькой сестренки Людмилки, моя кровать, круглый раздвижной стол. Ну и, конечно, дверь, из которой можно выйти в коридор и в которую можно вернуться обратно.

Над папы-маминой кроватью висит самодельный коврик, изображающий корзину с цветами. Цветы и листья собраны из разноцветных лент, серединка цветов – пушистый комочек из шелковых ниток. Я помню этот коврик, когда на нем еще ничего не было, а сам он был натянут на раму, мама вышивала на нем корзину и листики, а потом они с папой приделывали к нему цветы. А я подавал ленточки.

Коврик этот, выцветший, висел потом над моей кроватью до тех пор, пока я не оперился и не вылетел из родительского гнезда в большой мир. Я даже помнил – из маминых рассказов, разумеется, – какие цветы собрал из ленточек мой папа, а какие мама. Цветы, собранные папой, казались мне более изящными, но я об этом не обмолвился ни словом.

Остальные детали нашей комнаты теряются во мраке. Возможно, что они не вместились в мое сознание, не входя в сферу детских интересов. А возможно, других деталей просто не было.

Однажды папа пришел домой совсем не таким, как обычно, а совсем другим: сердитым и страшным. Он что-то говорил маме чужим – не папиным – голосом, а мама сидела на стуле и плакала.

Ссора между родителями стала, быть может, моим первым потрясением, изменившим плавное течение жизни. Теперь, когда папа возвращался с работы, я со страхом ждал повторения ссоры, то есть того непонятного, что выражалось на папином окаменевшем лице и мокром лице мамы. Все вещи, присутствующие при этом, притихли, и я, забившись под стол, сидел там тихо, как мышонок, не выдавая своего присутствия. Мне казалось, что если я шевельнусь, гнев папы перекинется на меня, каменное лицо его приблизится вплотную,

и короткие злые слова обрушатся на мою голову. Папа для меня стал с некоторых пор чем-то вроде горячего чайника, до которого хочется и в то же время страшно дотронуться. Лишь иногда суровый вид папы размягчался, и он вполголоса начинал заунывно жаловаться на то, что когда-то служил на какой-то почте каким-то ямщиком, был молодым и сильным и любил какую-то девчонку. Чаще всего жаловался он в сарае, печатая фотографии или вынимая из пахучей доски шуршащие гибкие стружки.

И как-то раз, уже лежа в постели, я спросил у мамы шепотом, куда подевалась та девчонка, которую любил наш папа? Наверное, я плохо объяснил маме, о какой девчонке идет речь, потому что мама вдруг прижала меня к себе и заплакала. Я тоже заплакал: мне было жалко маму, девчонку, папу и самого себя.

Мама укрыла меня одеялом, погасила свет, села рядом и тихонько запела:

*На лугу за речкой
Пасутся овечки.
Катись, мой клубочек,
Усни, мой сыночек.*

*Белые овечки,
Шерстяны колечки...
Катись, мой клубочек,
Усни, мой сыночек.*

*Дайте для сыночка
Шерсти на носочки...
Катись, мой клубочек,
Усни, мой сыночек.*

*Улетели птицы,
Шевелятся спицы...
Будут у сыночка
Теплые носочки...*

*Катись, мой клубочек,
Усни, мой сыночек.*

Глава 21

Я рос и рос, границы моих владений все расширялись и расширялись. Почти рядом с нашим домом стояла школа. Двухэтажная, кирпичная, за высоким деревянным забором, в котором кем-то была проделана большая дырка. Не помню, чтобы в этой школе когда-нибудь учились. Впрочем, в моей памяти вообще ничего не осталось от зимы – только лето и лето. Разве что чуть-чуть осени. Это скорее всего оттого, что лето в Ленинграде случалось реже, чем все остальное. Сама школа меня не интересовала: что может быть интересного в темном и пустом доме? Ничего. Зато интересовала крапива, растущая во дворе этой школы. Дикие, безбрежные заросли. А над ними кусты бузины с красными ядовитыми ягодами – если съешь хотя бы одну, то непременно заболеешь и умрешь. Я осторожно, с замиранием сердца трогая мягкие ягоды, иногда ягоды брызгаются соком, я нюхаю пальцы – от них пахнет чем-то нехорошим, и борюсь с искушением лизнуть этот сок: мне ужасно хочется посмотреть, как это будет, когда я умру. Если бы ягоды не пахли так плохо, я бы, наверное, не только лизнул, но даже немножечко съел этих ягод, чтобы умереть, но не совсем. Совсем умирать страшно. Мама говорит, что там, куда умирают, все время ночь и ночь и очень холодно. Но мама там никогда не была, а только видела, как умерших опускают в холодную землю. Нет, пожалуй, я еще немножечко подрасту и тогда уж попробую: может, там и не все время ночь и ночь и совсем не так холодно.

Самое интересное, конечно, не бузина, а крапива. Крапива бывает кусачая и некусачая. Кусачая – она и на вид сердитая и злая, как баба Яга. У нее даже цветочков нет, а есть какие-то неряшливые метелки, чтобы ее никто не любил. Зато некусачая цветет белыми или розовыми цветочками. Если этот цветочек сорвать, положить в рот и пососать, то можно вообразить, что это такая конфетка – мягкая и немножко сладкая. Лохматые шмели тоже любят цветочки некусачей крапивы. Шмели очень сердятся, когда видят меня рядом с крапивой: они думают, что я хочу съесть все их сладкие цветочки. Но я все не хочу – я только попробовать. Шмели садятся на цветочки, перебирают лапками и засовывают свои блестящие головки в цветочек. Наевшись, они летят к большой-пребольшой сосне: под сосной у них норка, а в норке наверняка живут шмелиные детки.

Как-то я воткнул в норку палочку. Собралось очень много шмелей. Они сердито гудели и ползали вокруг своей закрытой норки. Мне стало их жалко – и я вытащил палочку. Тогда из норки полезло много-много других шмелей, они стали летать вокруг меня и сердиться еще больше. Я испугался и убежал.

А еще на некусачей крапиве водятся разноцветные жучки и букашки. Они то сидят на месте, точно приклеившись к листочкам, то ползают по ним на своих ножках-проволочках. Иногда, забравшись на самый верх или на край листочка, расправляют изумрудные или красные, синие или коричневые крылышки и куда-то улетают. Может быть, домой, к своим деткам. Я пытался подсмотреть, где их дом, но они так быстро улетают, так быстро пропадают из виду, что для меня до сих пор остается тайной, куда улетают жучки и букашки с некусачей крапивы.

Наблюдать за шмелями, жучками и букашками можно долго – до самого обеда. Тем более что никто не мешает мне этим заниматься. Разве что мама.

Заслышав зов мамы, я забираюсь в некусачую крапиву поглубже и замираю, спрятав голову в колени и закрыв ее руками. Но мама меня все равно находит.

А еще я люблю смотреть на муравьев. Только не на маленьких, которые живут в земле, а на больших, которые живут в огромных кучах-домах из сосновых и еловых иголок. Но это случается лишь тогда, когда мы все: папа, мама, я и коляска с Людмилкой идем в лес. Лес – он совсем рядом: надо пройти по нашему переулку, потом по ненашему – и вот он лес. И тут

же начинаются муравьиные кучи-дома из иголок. Дома эти выше меня, а муравьев в них так много, что у меня не хватает пальцев, чтобы их сосчитать. К тому же они так быстро бегают и путаются между собой, что невозможно понять, сосчитал я их, или нет.

Однажды мама показала мне, как просить у муравьев муравьиный сок. Для этого надо взять прутик, очистить его от коры, облизать, сунуть в кучу, в которой живут красные муравьи с черными головами и попросить: «Муравьишки, муравьишки, дайте сока мне излишки, придет кожаный начпрод и весь сок ваш заберет». Начпрод представлялся мне медведем с железными лапами. Муравьи пугаются кожаного начпрода, кидаются на прутик и поливают его своим соком. После этого муравьев надо отряхнуть, чтобы они не укусили за язык, и облизать прутик – он кислый-прекислый. А если не стряхивать муравьев, а быстро-быстро побежать к другой куче, в которой живут черные муравьи, и сунуть прутик в их кучу, то начинается такая беготня, что ничего разобрать нельзя. Только и можно разобрать, что черные муравьи берут красных в плен и утаскивают в свой дом. Но это очень обидно, когда черные берут в плен красных. Поэтому я собираю на прутик черных и отношу их в плен красным. К тому же сок черных муравьев не такой кислый.

По-видимому, к этой поре относится и мое первое посещение кино. Может быть, меня брали в кино и раньше, но те картины не произвели на меня никакого впечатления. Как и последующие. А в этот раз показывали «Чапаева».

Я отчетливо вижу огромный зал, шевелящиеся голубые лучи света над головой, то яркий, то темный экран, широкий проход и множество неподвижных спин и голов. Я сижу у мамы на коленях, на экране плывет через речку Чапаев, вокруг него шлепаются пули. И вдруг Чапаева не стало: плыл-плыл и пропал. Я заплакал... Нет, я заорал. Я бился в истерике, мне совали в руки мороженое, конфеты, вокруг толпились тети и дяди, а я никак не мог успокоиться, так мне было жалко Чапаева...

Впрочем, того «Чапаева» я помню смутно, если вообще помню: его заслонил «Чапаев» позднейших лет. Но всякий раз, когда вокруг плывущего Чапая взмываются фонтанчики от пуль, я чувствую себя все тем же четырехлетним мальчишкой, в неутешном горе оплакивающим гибель киношного героя. Конечно, я уже не ору, но слезы на глаза наворачиваются, и поделать с этим ничего не могу.

Гибель Чапая связана с другим зрелищем, возможно, того же вечера. Мы вышли из кинотеатра – напротив горит какой-то большой дом. Гремят колокола пожарных машин, красное пламя и белый дым отражаются в мокром асфальте, дребезжат трамваи, гудит черная толпа; белые струи воды, такие тонкие, такие игрушечные, исчезают в пляшущем пламени и клубах дыма. Дед со шлангом в окне второго этажа нашего дома выглядит куда солиднее, а струя воды из этого шланга куда значительнее.

Пожар продолжался долго. Вряд ли мою маму (папу я при этом не помню) прельстило зрелище пожара. Скорее всего, не ходили трамваи. Отсюда толпа и все остальное.

С тех пор «Чапаев» и пожар соединились в моем сознании в неразрывное целое, но не в качестве некой ужасной символики, а как одновременность или некая последовательность слишком ярких зрелищ, которые не могут не запечатлеться в детском сознании.

По-видимому, именно Чапай пробудил во мне способность к воображению и сочинительству всяких невероятных историй. Началось с того, что я вообразил себя Петькой, которого не убили, а он только претворился убитым, как я иногда притворяюсь спящим, если ко мне подходит мама. Он претворился, а когда беляки подошли к нему, Петька бах-бах! – и всех беляков побил и спас Чапая, и они, то есть я и Чапай, потом побили всех остальных беляков, какие только существовали на белом свете. Представлять себя героем тех или иных событий прошлого вошло у меня в привычку, которая, видоизменяясь, то охватывает весь мир, то пристраивается на краешек табуретки в обычной повседневности. Привычка

эта сопровождает меня всю мою жизнь. Возможно, склонность к воображению есть отличительная черта всех писателей. Но я об этом задумался, лишь став взрослым. Взрослым же я заметил, что иногда писатели этой склонностью награждают своих не самых лучших выдуманных героев, потому что им, писателям, кажется, что в этой склонности есть нечто стыдное для всех прочих, обязанных жить исключительно реальной жизнью, без всяких там фантазий и воздушных замков, то есть как все нормальные люди. А если какой-то человек никак не может без выдумок и фантазий и при этом не пишет романы, то он человек ничемный, похожий на Манилова и Обломова одновременно, с которых брать пример нельзя. Писатели – они всегда знают, что делать и как жить остальным людям, чтобы не морочить себе и другим голову.

В молодости я об этих знаниях не имел ни малейшего представления и поэтому, сколько себя помню, постоянно жил как бы в двух мирах сразу: реальном и воображаемом. Реальный мир казался мне тусклым, мало интересным, я не играл в нем почти никакой роли. Зато в воображаемом мире я – герой, совершающий необыкновенные и самые благородные поступки, защищающий слабых и униженных, побеждающий сильное и жестокое зло. Увлеченный этой своей выдуманной жизнью, иногда забываясь и забывая о реальности, я рассказывал сверстникам свои выдуманные истории, как имевшие быть в действительности. Конечно, не я в своих рассказах был их героем, но всегда получалось так, что либо действие вершилось на моих глазах, либо кто-то рассказывал мне самому ту или иную историю. Теперь я понимаю, что мне хотелось проверить, как мои слушатели воспримут мою «историю», как к ней отнесутся. Относились по-разному. Иногда по скучающим лицам я замечал, что «история» не удалась. Приходилось сминать ее, скомкивать. Иногда «история» удавалась, слушали меня с открытыми ртами. Я вдохновенно врал, украшая «историю» невероятными подробностями, которые – по здравому рассуждению – не мог ни увидеть сам, ни услышать от выдуманного же рассказчика. Наконец, поскольку понравившуюся мне и другим «историю» с самим собой в главной роли я мысленно украшал все новыми эпизодами, то часто забывал о рассказанном начальном варианте, и меня на этом ловили. Приходилось выкручиваться, краснеть и давать себе клятвы, что больше никогда и никому. Но выпадал подходящий случай – и я забывал о своих клятвах.

Но это все потом, потом, а тогда – году в тридцать девятом-сороковом – это только начиналось: я стал не только видеть окружающий мир, но и что-то запоминать и примеривать на себя.

Запомнилось еще одно зрелище, потрясшее мое детское воображение.

Представьте себе: цирк, большая клетка, в клетке рыкающие львы и яркая женщина с хлыстом в руке. Мы с мамой сидим в первом ряду, совсем рядом барьер, арена. Сам цирк меня ничуть не поразил. Ну – женщина, ну – львы. Что тут такого? Дворовая собачка, умеющая ходить на задних лапках, производит большее впечатление, чем цирковая собачка, умеющая делать сальто-мортале. Я бы ни львов не запомнил, ни женщину, как не запомнил ничего другого, если бы...

Вот женщина берет в рот кусок мяса, подходит к большому лохматому льву, сидящему на тумбе, тянется к нему всем телом – и вдруг весь зал взрывается отчаянным криком... истошный визг, мама хватается меня на руки, прижимает к себе, закрывает мне глаза, но я успеваю заметить распростертое на арене тело женщины, залитое кровью, и львов, мечущихся по клетке со страшным рыком...

Глава 22

Наш ленинградский дом и стоящая по соседству школа мне до сих пор представляются отдельным островком в море сосен, крапивы и травы. На одном краю моей крохотной Ойкумены существовала широкая улица с трамваями, машинами, большими домами, магазинами и будкой сапожника, – это Лесной проспект. Будку сапожника частенько посещала моя мама вместе со мной и сестренкой. Эта будка каким-то образом связана с железными блестящими шариками. Возможно, сапожник дарил мне шарики при каждом таком посещении. Шариков набиралось много, они оттягивали карманчик моих коротких штанишек. Эту тяжесть я ощущаю до сих пор.

На другом конце Ойкумены лежала тихая улочка с домишками совсем маленькими, с голубенькими наличниками и ставеньками, штaketными заборами, сиренью и жасмином, свисающими через забор. А еще – с собаками. В одном из домишек жил мальчик Вова со своей бабушкой. Вова был постарше меня, он часто появлялся на нашем островке, шпынял малышей, отнимал игрушки, топтал построенные из кубиков или песка домики. Однажды он каким-то образом обидел меня. К своим четырем-пяти годам я уже кое-что понимал. В том числе и то, что от более сильного можно отбиться какой-нибудь палкой. Еще я знал, что все – и я в том числе – боятся крови. Случай с Марой не прошел для меня даром. И вот я схватил палку и ударил Вову: наверное, для этого имелись веские причины. Вова кинулся бежать, я за ним. Я гнал его до самого края своей крошечной Ойкумены, загнал за калитку, чем вполне оправдал свое звание Унаик-Фуган. Если папа узнает об этом, он меня похвалит.

Вова, однако, посчитал, что дело не кончено. Он вернулся к калитке с собакой и выпустил ее на улицу. Собака – вернее, собачонка – по имени Пушок, маленькая, беленькая, какой-нибудь шпиц, – догнала меня и вцепилась в мою ногу. Я заорал. Было больно, страшно, а еще – кровь. Каждый заорет. Выскочила Вовина бабушка, настегала собаку хворостиной – собака визжала и дергалась в руках бабушки; настегала своего внука – тот тоже визжал и дергался, подхватила меня на руки и понесла домой: она откуда-то знала, где я живу... Потом были тети в белых халатах и уколы.

И вот что интересно: после этих стычек и девочка Мара, и мальчик Вова исчезли из моей памяти: то ли Мара перестала плевать, а Вова шпынять малышей, то ли они гуляли в других местах нашего острова, то ли я гулял от них в стороне. Не помню. Исчезли – и все тут. Правда, Мара вскоре проявилась, но совершенно странным образом: в маленьком красном гробике с белыми кружевами. Гробик стоял во дворе перед крыльцом на двух табуретках, Мара лежала в нем, белая и востроносая, похожая на птицу. Вокруг толпился народ. Моя мама почему-то плакала, а папа ходил вокруг с треногой и фотографировал гробик с Марой и всех, кто его окружал.

Мара, как я потом узнал, умерла от аппендицита.

И еще одна деталь: говорят, что если кого-то в детстве укусит собака, страх перед собаками будет сопровождать однажды укушенного всю его жизнь. Странно, но на меня это правило почему-то не распространилось: я не боюсь собак совершенно. Вернее, я их опасуюсь, но не показываю вида. И они это чувствуют. Ведь собаки тоже не такие уж храбрые: они рычат, лают, оскаливают клыки, – они пугают, но посмотрите на их хвост, и вы поймете, что они тоже боятся. Или опасаются. Опаснее те собаки, которые молчат.

В той же стороне, где жил Вова со своей бабушкой и собачкой Пушком, стояла маленькая булочная. Вся зеленая, но с белыми окошками. Маленькая даже для моего роста. Если что и было в этой булочной большим, так это прилавок, до верха которого я едва дотягивался, даже встав на цыпочки, и очень добрая тетя за этим прилавком в белом фартуке. Если дать этой тете денежку, она положит на весы с клювиками хлеб, потом отрежет от него кусочек,

потом добавит кусочек поменьше и весь хлеб с маленьким кусочком отдаст мне. По дороге этот кусочек можно съесть. Вкуснее таких кусочков ничего на свете не бывает. Ходить за хлебом к доброй тете в ее маленькую булочную было одним из моих удовольствий.

Мы жили, о чем я уже говорил, вчетвером: папа, мама, я и сестренка Люда. Это я потом выяснил, что нас четверо, а до каких-то пор нас было трое. Моя сестренка появилась в моей жизни далеко не с того дня, как ее привезли из роддома. Она стала реальностью с одного вполне житейского случая. Другими словами, я помню ее исключительно с этих пор. И в дальнейшем она проявляется в моей памяти тоже в связи с какими-то случаями, тоже вполне житейскими, но как бы и не обязательными. Это как в истории: случилась война между двумя царями, один царь победил другого и взял себе его народ; после этого двести лет ничего не случилось – скучно.

Так вот. Иногда мама куда-то уходила, оставляя нас одних: мне четыре года, мне можно доверять. Наверное, это произошло зимой. Мама ушла и забыла оставить в комнате горшок. А сестренке захотелось а-а. Что делать? Стелю на пол газету, усаживаю Людмилку над нею и наблюдаю весь вполне естественный процесс, чтобы вовремя вытереть сестренке попку. Затем сворачиваю газету в кулек, залезаю на окно, открываю форточку и... – ничего особенного, со всеми бывает, не война и даже не пожар.

Далее рассказ мамы, который повторялся множество раз, как свидетельство моей находчивости:

– Подхожу к дому, – рассказывает мама какой-нибудь новой знакомой, – а под нашими окнами толпа. Слышу, люди говорят: «Безобразие! До чего дошли: дерьмо на головы прохожих выбрасывают!» Глянула, а сын стоит на подоконнике, в одной рубашонке, ладошками уперся в стекло – вот-вот вывалится. Кинулась наверх, открываю дверь, а он плачет, оправдывается: ты, мол, горшок не оставила, вот я и... Всего-то и лет было, а догадался, – с гордостью заключает мама. И добавляет: – Уж когда все разошлись, я пошла и убрала.

Так себе происшествие, если разобраться. Тут важна не столько моя роль в этом происшествии, а как к этой роли отнеслись взрослые.

Детская пора – пора накопления жизненного опыта. В кладовые памяти откладываются все: хорошее и плохое, нужное и ненужное, полезное и вредное. Что останется и начнет определять дальнейшие поступки, зависит от того, чего больше накоплено в детстве, что чаще всего приходится употреблять в столкновениях с другими людьми, большими и маленькими. От ребенка мало что зависит. Когда он начнет не только накапливать, но и оценивать свои приобретения, верх возьмет практическая целесообразность имеющегося в его распоряжении жизненного багажа. Даже если мы не помним многое из того, что дало нам детство, не можем связать настоящее с прошлым, детство, тем не менее, продлится в нашей взрослости. Иногда я настолько отчетливо чувствую связь своих некоторых детских впечатлений с собой сегодняшним, что мне начинает казаться, что тот четырехлетний Унаик-Фуган все еще живет во мне и руководит моими поступками.

Мое довоенное детство уместилось в моей памяти в очень сжатый отрезок времени, который, вспоминая, приходится растягивать, чтобы хоть что-то разглядеть повнимательнее. У меня, помимо прочего, такое ощущение, что прошлое мое заключено в книгу, пережившую пожары и наводнения, чьи страницы слиплись, а буквы стерлись. И вот я осторожно отделяю одну страницу от другой и кое-где нахожу сохранившиеся строчки. Впрочем, все это лишь попытка разобраться в себе самом и возбудить воображение читателя. Иногда для этого годится фонарик, иногда книга. То ли еще будет...

У меня рано проявилась страсть к рисованию. Она была даже выше страсти наблюдения за жучками и букашками. Рисовал я цветными карандашами. Чаще всего, как мне помнится, танки с такими странными как бы воротниками вокруг башен. Или коронами. Танки я

видел на Лесном проспекте. Они бесконечной колонной двигались куда-то вдаль, над ними вбухали облака дыма, они ревели, из их башен торчали танкисты и смотрели по сторонам. Танки, скорее всего, ехали на парад в сторону центра. Или с парада. Танкисты, конечно, видели и меня, сидящего у папы на плечах, потому что я кричал и махал им обеими руками. На мне матроска – я был моряком – они не могли меня не заметить. Иногда они махали мне в ответ. Я знал, что когда вырасту большим, стану танкистом. Но не обыкновенным, а морским.

Мои рисованные танки тоже дымили, из башен их тоже торчали танкисты, но еще мои танки стреляли и неслись куда-то вдаль. Иногда плавали. Или поворачивали. Как лошадь, запряженная в телегу, – слегка изогнувшись всем своим железным туловищем. Это мне особенно удавалось. Поэтому и врезалось в память навечно.

Глава 23

В деревню к деду Василию мы поехали всей семьей. Летом...

Нет, сперва была осень. Шел дождь, дул холодный ветер, светили фонари, блестел мокрый перрон, и мне очень хотелось спать. Мы шли вдоль зеленых вагонов... То есть шли мама с папой, а я сидел на чемоданах, чемоданы стояли на тележке, тележку катил сердитый дядя в фартуке, почти таком же, как у мамы, но без цветочков, зато с круглой жестяной на груди. Папа нес Людмилку, мама, в соломенной шляпке с голубыми цветочками сбоку и сеточкой на лице, шла рядом и держалась за папу, чтобы не отстать, потому что я ехал очень быстро.

Наш вагон оказался прицепленным близко к паровозу с большими красными колесами. Паровоз сердился: ему ужасно надоело стоять на одном месте и страшно хотелось погудеть. Он пытел, шипел, окутывался паром. У меня дома под столом остался такой же паровоз с красными колесами, только маленький и деревянный. Он совсем не умел шипеть и пыть. За него шипел и пытел я сам. И гудел тоже.

А вот тетя в красной шапочке никуда не спешила. Она взяла у папы какие-то бумажки, долго рассматривала их и только потомпустила нас в вагон. Я даже расхотел спать: так боялся, что паровоз уедет без нас. Или без папы, который куда-то исчез, едва рассадив нас с мамой в маленькой комнатке с полатами и диванами, а появился, когда паровоз загудел и мы поехали. И как только папа появился, меня положили на диван – и дальше я ничего не помню.

Наверное, паровоз ехал очень долго – целую ночь или много ночей подряд, потому что, когда мы приехали и вышли из вагона, на дворе было лето. И все равно мы приехали слишком рано: солнце еще спало в своей кровати за лесом, и я тоже никак не хотел просыпаться. Тогда кто-то сказал: «Ну, несите его в телегу». Меня понесли и положили на что-то пахучее и шуршачее. И укрыли тоже чем-то пахучим. Запахи были знакомые: ведь я не первый раз еду в деревню к деду Василию. И к другому деду ездил, папиному, который умер, потому что его убили бандиты, когда я был маленьким-премаленьким, как воробушек, и даже когда меня совсем не было. Но это, конечно, неправда – я был всегда.

Хотя на дворе стояло лето, то есть не сыпал дождь и не дул холодный ветер, и все вокруг пахло, мне было не до лета и не до запахов: сон все еще не отпускал меня из своего пушистого и теплого мешочка. А потом, когда мешочек стал раскачиваться, подпрыгивать, щелкать, цокать, фыркать и покрикивать время от времени дедушкиным голосом: «Но-о, Кудла-атая!», я и сам не захотел вылезать из него наружу. Я качался в своем мешочке, все слыша, но ничего не понимая, досыпая дождливую ленинградскую осень.

Проснулся я под кукареканье, мычание, веселый лай и всякие большие и маленькие голоса. Открыл глаза – Лето! Небо голубое-преголубое! Солнышко яркое-преяркое! Воробьи прыгают по соломенной крыше прямо над головой, заглядывают в телегу и громко чирикают. Наверное, они приехали вместе с нами из Ленинграда, сели на крышу поезда и приехали – точно такие же, как и в нашем дворе. И чирикают точно так же. И ворона приехала тоже. Только на паровозе, где грязно. И она была точно такая же, как ворона в нашем дворе – черная с серым. Ворона сидела на дереве, свесив вниз черную голову с большим жадным клювом, уставившись на меня черными круглыми глазами, и время от времени спрашивала: «Ка-ак? Ка-ак?» Это была очень знакомая мне ворона. Она и в Ленинграде спрашивала всех о том же самом. Глупая такая ворона.

– А вот так! – ответил я вороне очень сердито.

А какой-то дядя засмеялся и сказал:

– Так-то оно так, племянничек, да не так оно этак!

Тоже какой-то глупый дядя.

И тут мне вспомнились запахи: пахло сеном, овчинным тулупом, которым меня накрыли, и лошадью. Лошадь – вот она. Правда, не вся, а лишь широкий коричневый зад с висячим хвостом из длинных черных волосин. Иногда хвост мотался туда-сюда. И шуршал. Я знал, что за широким задом будет спина, грива и голова с ушами и глазами. А внизу – четыре ноги с копытами. Я выбрался из-под тулупа, сел и, свесившись с телеги, заглянул лошади под брюхо: ноги и копыта были на месте. Лошадь повернула голову, посмотрела на меня большим черным глазом, поморгала и фыркнула. Тоже какая-то глупая лошадь...

Лошадей я умел рисовать. К нашему дому в Лесном переулке часто приезжал дядя на лошади с железной бочкой. Он дудел в дудку, и тогда все хватили бутылки-банки и бежали к дяде за керосином. Я тоже бежал вслед за мамой. Но без бутылки, потому что она пачкается и плохо пахнет, и надо будет долго-долго мыть руки с мылом. Еще я умел рисовать собак. И кошек. Кошки у меня были все рыжие, как у нашей соседки. А собаки коричневые, как собака у дяди Паши с первого этажа. А ворон рисовать неинтересно: они такие... не цветные.

Тут надо мной склонилось волосатое лицо деда Василия и спросило, широко разевая рот:

– Проснумшись, Унаик-Фуган? Тогда пошли молоко пить. Парное, чать. Нешто ваше, питерское? Вода-аа...

– А пенки? – спросил я деда Василия.

– Ишь ты! – удивился дед. – Губа-то, чать, не дура. Будут тебе и пенки. И свисток тоже будет.

– И бейка?

– И белка.

В деревню деда Василия мы приехали к самому сенокосу. И не мы одни. Приехали другие мамини сестры и братья со своими мужьями, женами и детьми. Из Москвы, Ленинграда, Пскова, Новгорода, Калинин, Смоленска, Торжка, Вышнего Волочка – вот как много! Потому что у деда было очень много детей. В избу набилось столько народу, что не протолкаешься. Ели, пили, пели, плясали, играли на гармошках и балалайках. Дети тоже ели, пили, плясали. И рассказывали стишки. Я тоже рассказал стишок про дедушку Ленина и спел песенку про барабанщика. Нам хлопали и кричали. Мне тоже похлопали и покричали. А потом меня отвели спать.

Нет, я неправильно рассказываю: это все случилось потом, когда комары стали кусаться. А сперва комаров не было, зато летали слепые мухи и страшно сердились на всех. И на меня тоже. И тогда получилась баня. Я впервые пошел в баню вместе с папой, а не с мамой. Дед Василий сказал, что я уже большой, что я – мужик, хватит мне ходить в баню с бабами. И я пошел в баню с другими мужиками.

Ух и жарко же в этой мужицкой бане! Совсем не так, как в бабской. А мужики всё плескали воду из ковша на горячие камни и плескали, вода шипела, трещала и даже стреляла, как пистоны в моем револьвере, мужики ухали и хлестались березовыми вениками, как будто они наозорничали и теперь наказывали друг друга за свое озорство. Папа хотел и меня наказать, но я испугался и залез под лавку. Меня достали, и дед Василий сказал:

– Какой же ты мужик, коли березовой каши не пробамши?

Это правда: березовой каши я не пробовал – всё манная да пшенная, иногда гречневая или рисовая. Все каши на молоке и с маслом, только гречневая с молоком и без масла. Зато молоко с пенками. А это такая вкуснота, что ел бы и ел, но мама говорит, что больше нельзя, иначе случится заворот кишок. Если бы не этот таинственный заворот, я бы съел все пенки, какие есть на всем белом свете.

Березовая каша оказалась все тем же веником, которым меня тоже похлестали. Но не больно, а горячо-прегорячо. Я терпел-терпел и не плакал. Но потом все-таки расплакался, потому что испугался, как бы у меня от березовой каши не случился заворот кишок. Меня

сняли с полки, облили теплой водой, посадили на лавку, дали квасу и мед в сотах. Я высасывал мед и думал, что с бабами ходить в баню лучше, чем с мужиками: они, бабы, не кормят березовой кашей, а когда моют, то розовой губкой, а не кусачей мочалкой, и голову так не скребут, как папа скреб мою голову.

Утро выдалось удивительно тихим. Ни коровы не мычали, ни петухи не кричали, ни собаки не лаяли, даже вороны и воробьи куда-то подевались. И народу – никого, точно ветром всех сдуло. И даже детей. Оказалось, что не все, кто приехал, живут в дедовом доме, а те, что живут, почти все ушли на сенокос. И даже дети. Я тоже запросился на сенокос. Мама сказала:

– Вот позавтракаем и пойдем.

Завтракали мы гречневой кашей с молоком и большими коричневыми пенками. Я съел всю кашу и все пенки, потому что вкусно, но больше всего потому, что очень хотел пойти на сенокос.

Дом деда Василия стоит на самом верху. Но это совсем не его дом, а дядин Мишин, а дедов совсем в другом месте, маленький, потому что большой сгорел и дед стал погорельцем, и там негде поместиться. Сразу же за домом сарай с дровами, коровий, овечий, поросятчий, куриный и гусиный дом, а уже за ними огород, в котором растет картошка длинными-предлинными рядами, капуста, лук, морковка и еще какая-то трава. Вдоль ограды несколько вишен с зелеными ягодами, ужасно кислыми, какие-то кусты тоже с ягодами, и тоже очень кислыми на вид, так что я даже не стал их пробовать.

Мы, то есть я, мама и Людмила, прошли огородом по узенькой тропиночке мимо бани и вышли за околицу. Околица – это такой забор из длинных серых жердей, привязанных к кольям, чтобы колхозная скотина не поела дядамишину картошку и капусту. Я пролез между жердями, Людмила проползла под ними, а маме пришлось жерди поднимать, чтобы пройти, и снова класть на место.

Вдали виднелись мужики. Они во что-то играли, вертясь, размахивая палками и едва-едва переступая ногами. Может, они что-то потеряли в траве, может, они ловили жуков и кузнечиков.

– Во-он папа, – сказала мама, показывая пальцем на одного из мужиков в белой рубахе.

Папа, на мой взгляд, ничем не отличался от других мужиков. Он отличился, когда мы подошли близко. Но совсем близко мама нас не пустила.

– А что они делают? – спросил я, когда мы были еще далеко.

– Не делают, а делают, – говорит мама и требует: – Повтори.

– Делют, – повторяю я.

– Господи, – говорит мама. – И когда ты только научишься правильно говорить?

А папа сердится:

– Ты чего язык ломаешь? – сердится папа.

– Я не ямаю, – отвечаю я. – Он сам.

– Он сам так не может, – еще больше сердится папа. – Вот возьму тебя и отшлепаю ремешком.

– Ага, – говорю я. – А сам?

– Что сам?

– А тебя? Язве это пьавильно?

Папа хмурится и не говорит ничего, потому что он, говорит мама, из Белоруссии, а там, говорит мама, все говорят неправильно.

– Мам, ну мам! – дергаю я маму за рукав. – Что они делают?

– Косят траву, – ответила мама. – Трава высохнет, станет сеном. Сено будет есть зимой коровка и давать молочко, молочко затопят в печке – будет пенка.

Так вот, оказывается, откуда берутся коричневые пенки!

На мне матроска, бескозырка с надписью «Аврора» и короткие штанишки. Мы идем по полю между рядами скошенной травы. В кустах поют какие-то птички, в траве трещат кузнечики, летают стрекозы, над деревьями суетятся вороны и бестолково спрашивают друг у друга одно и то же: «Ка-ак? Ка-ак?» За деревьями блестит река. По другую сторону от сенокоса темнеет лес. Из лесу доносится голос кукушки – почти такой же, как из часов, что висят дома на стене. А еще какая-то птичка спряталась в траве и торопливо повторяет: «Пить хочу! Пить хочу!» Вот глупенькая! Речка-то совсем рядом. А еще вокруг летают разноцветные бабочки, бегают какие-то птички с длинными хвостиками. Хвостики у птичек трясутся, птички подпрыгивают, хватают кузнечиков и бабочек и улетают. Потом прилетают снова.

– А куда етят тички? – спрашиваю я у мамы.

– Кормить деток.

– А де деки?

– В лесу.

– Подем помотим.

– Нельзя: там гадюки. Они кусаются.

Мы постояли, посмотрели, как папа с мужиками косит для коровки траву, и пошли на другой луг собирать дикую клубнику. Я ползал по траве на четвереньках, разгребал ее руками, но клубника так хорошо умела прятаться, что я никак не мог ее найти.

– Да вот же она! – говорила мама, показывая мне притаившиеся под листиками красные ягоды. – А вот еще. И еще.

Я засовывал в рот ягоды, показанные мамой, и полз дальше. Почему-то мне ягоды показываться не хотели, а маме хотели. Но я не обижался на них: это так интересно играть в прятки с ягодами. Зато когда найдешь сам, без маминой подсказки, ягода так вкусно пахнет, такая она сладкая, что даже вкуснее пенки и меда.

Тут Людмилку укусила большая слепая муха, Людмила расплакалась, и мы пошли домой в деревню. И вокруг меня тоже вились слепые мухи и страшно гудели, но я шел тихо, чтобы они меня не услышали. Да только Людмила так громко плакала, что и меня тоже укусила слепая муха. Однако я не стал плакать: ведь я мужик, а не баба. К тому же еще и моряк.

Глава 24

За несколько дней в деревне я освоился настолько, что мама стала посылать меня к папе с обедом. Теперь папа ездил на лошади, на той самой, которая привезла нас в деревню, но не верхом, а в такой телеге с сидением, как на велосипеде, и сбоку от него крутилось большое колесо, махали железные крылья: так теперь папа косил траву. Один. Без мужиков. Но и в этом случае подходить к нему близко никак нельзя, потому что лошадь глупая, как вороны, и может скосить меня вместе с травой.

Я останавливался на краю луга и кричал:

– Папа, я пише-ооол!

Папа сворачивал ко мне, отпрягал лошадь, вынимал у нее изо рта железку, чтобы туда помещалась трава, связывал ей передние ноги грязной толстой веревкой, чтобы глупая лошадь не убежала к голодным волкам, которые ее съедят, и пускал лошадь пастись. Лошадь ела траву и махала длинным хвостом, отгоняя слепых кусачих мух. А мы с папой садились в тенечек, ели окрошку с черным хлебом деревянными ложками. В поле окрошка куда вкуснее, чем в избе. В поле я ел наравне с папой: он ложку – я ложку, он другую – я другую. Правда, моя ложка поменьше папиной, так я и сам поменьше папы. Поев, я забирал узелок и шел домой: папе после обеда положено работать, а мне – спать.

Однажды вот так же мама собрала меня и отправила к папе на работу. Это было совсем не так уж и далеко от дедушкиной деревни. Сперва надо пройти мимо двух изб, выйти к старому кладбищу и развалинам барского дома. Миновав кладбище, дорога идет через лесок, затем мимо старого сарая с просевшей от времени крышей и полусгнившими бревнами. В сарай мне заглядывать запрещено: не дай бог, обвалится. Но в этот раз, возвращаясь домой, я не утерпел и заглянул в широкий проем, полуприкрытый покосившейся дверью. На меня глянула пахучая чернота, потом из черноты что-то вылетело с писком и хлопаньем крыльев. Я испугался и отскочил от двери. Но любопытство пересилило.

Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел пустое пространство, пронизанное пыльными лучами солнца. На полу топорщились какие-то кучи – то ли навоза, то ли сопревшего сена. Крыша висела на серых толстых палках и светилась дырками. Некоторые палки обломались и сами висели, уцепившись за крышу. В солнечных лучах вместе с пылинками мелькали какие-то птицы и сердито кричали друг на друга.

Я подумал: это оттого, что какие-то птицы мелькают правильно, а какие-то неправильно. Когда я что-то делаю неправильно, на меня тоже кричат: «Витюшка, ты куда это пошел... неправильно?»

Впрочем, ничего интересного в этом сарае не оказалось. Ни леших, ни упырей, ни других страшных жителей здешних лесов, о которых мне рассказывал дед Василий. И ничего на меня падать не собиралось. И я, выбравшись на белый свет, собрался совсем покинуть это место, но тут внимание мое привлекли несколько кустиков земляники, растущих на какой-то куче, из которой торчали два серых полусгнивших бревна. Конечно, я не мог пройти мимо.

Оставив узелок с кувшином на дороге, я полез на кучу и только протянул руку к соблазнительным, красным, ярким, сочным и, конечно, вкусным-превкусным земляничинкам, как куча подо мной вдруг осела и с шумом провалилась вместе со мной в эту... как ее? В общем, я тогда от страха и неожиданности совсем забыл, как это называется, куда проваливаются очень нехорошие люди, а вспомнил много позднее.

Меня не убило, не задавило, а всего засыпало мусором и пылью. Из-за этой пыли я даже кричать не мог, а только перхал, как овца, и кашлял. Наконец пыль осела, дышать стало легче, сверху показалась маленькая круглая дыра очень голубого цвета – у меня даже карандаша такого нету, чтобы нарисовать эту дыру. Дыра была так высоко – на самом небе, что до нее

не достал бы даже сам папа. И только тогда я закричал и заплакал. Я кричал и плакал, звал маму и папу до тех пор, пока не устал и не охрип. Только после этого я сумел оглядеться и увидеть то, что не увидел сначала сквозь пыль, потом сквозь слезы.

Я сидел на дне глубокой ямы с отвесными стенами. Если лечь на дно этой ямы и вытянуть руки и ноги, то и тогда я не смог бы достать до другого ее края. Наверное, я очень провинился перед черным таким боженькой, который висит в углу избы дяди Миши и смотрит на всех суровыми, как у деда Василия, глазами, если он, этот боженька, бросил меня в преисподнюю. Дед так и говорит: «Будешь озорничать, Унаик-фуган, боженька или уши тебе отрежет, или бросит в преисподнюю. Будут тебя там черти жарить на сковородке и бить батогами».

Чертей в своей преисподней я не обнаружил, зато обнаружил большую угрюмую жабу и зеленую ящерку. Жаба сидела в маленькой пещерке и хлопала круглыми, выпуклыми глазами. И ящерка тоже иногда хлопала, однако на месте не сидела, а пыталась выбраться из преисподней. Она карабкалась по отвесной стене, но, забравшись иногда даже очень высоко, срывалась и падала вниз, исчезая в сенной трухе. Через некоторое время труха начинала шевелиться, показывалась зеленая головка, затем две лапки, туловище с черной полосой, еще лапка и хвост. Одной лапки почему-то не было. Наверное, боженька отрезал ей одну лапку после того, как отрезал ушки. И у жабы ушки тоже были отрезаны, но все лапки были на месте, однако она никуда не лезла, а только хлопала и хлопала глазами. Ящерка выбиралась из трухи и снова пыталась достичь голубой дыры. И снова падала.

Я наблюдал за ее тщетными попытками и начинал хныкать, когда ящерка срывалась, и затихал, когда она снова карабкалась к голубой дыре. Время от времени я трогал руками свои уши и даже дергал их – уши оставались на месте.

Вскоре дыра посинела и уменьшилась. Стала почти неразличимой жаба, затихла усталая трехногая ящерка. Я продолжал хныкать и скулить, иногда звал маму или папу. Меня клонило ко сну...

Вдруг сверху посыпалась труха, что-то закрыло дыру и спросило страшным голосом:

– Эй, есть там кто?

– Есть, – отозвался я снизу еле слышно от страха: а вдруг это тот самый черт, который поджаривает озорников на сковородке? Ведь мне не разрешали подходить к сараю и заглядывать в него...

– Витюшка, ты, что ль?

– Я-яя, – проблеял я в ответ жалобным овечьим голосом.

Все-таки это был не черт, про которого рассказывал дедушка: откуда черту знать, как меня зовут? Да и голос был знакомый, человеческий, очень похожий на голос дяди Миши, самого главного здесь председателя колхоза.

Дядя Миша спустил вниз грабли и велел мне встать на грабельницу. Я встал, обхватив черенок обеими руками. Дядя Миша потянул грабли вверх и вытянул их вместе со мною.

– Как же ты умудришься сюда попасть? – спросил дядя Миша, отряхивая мою матроску от сенной трухи и пыли.

– Земяника, – ответил я прерывающимся от перенесенных страданий голосом.

– Земяника, значит? Вон как? А я иду, глядь – узелок! Что за чудо? – думаю. А оно вон какое чудо. Мать-то, небось, обыскались? Ну, пойдем, давай руку, Унаик-Фуган.

– А ящейка?

– Какая еще ящерка?

– Зееная.

– В яме?

– Да. И жаба.

– Ну, брат, что ж поделаешь. Не лезть же мне в яму за ящеркой и жабой. Кто ж тогда меня вынимать оттуда будет? А?

Так и остались в яме ящерка и жаба. Жарят, наверное, их черти на своих сковородках.

Я потом спрашивал у деда, жарят или нет? Дед сказал, что божьи твари безгрешны. За что же их жарить-то? Грешны одни люди.

– А поосенок? – приставал я к деду.

Поросенка зарезали в тот же день, как мы приехали в деревню, он ужасно визжал, бедный. Потом его повесили за ноги и порезали на кусочки. А кусочки пожарили.

Мне было жалко поросенка, я убежал, нашел маму и плакал, уткнувшись лицом в ее колени.

– Поросенок-то? – переспросил дед Василий. – А что поросенок? Его господь для нашего пропитания сотворимши, потому его человек и жарит, и варит, и ест, чтоб с голоду не помереть. Челове-ек, а не черти! Так-то вот, Унаик-Фуган. – Покачал седой головой и проворчал: – Человек – он иногда похуже чертей бывамши...

Чертей я видел на картинках, когда мама читала мне сказки. Смешные такие, с хвостиком – как у коровы, копытами – как у козы, рожками – как у козьего детеныша, с лицом – похожим на дедушкино, и пяточком – как у поросенка, которого съели папа, дедушка, дедушкины дети и внуки. И я сам съел кусочек. Нет, даже два кусочка. Чтобы не помереть с голоду. Но человека, который был бы хуже чертей, я еще не видел.

– А какие они?

– Кто?

– Хуже чейтей...

Дед нахмурился, поглядел на меня маленькими светлыми глазками, погладил мою голову ладонью, такой жесткой, точно она сделана из дерева, вздохнул.

– Какие... Вот вырастешь, тогда и узнаешь.

В тот же день я нарисовал черта – маленького такого, но рога, но хвост, но копыта, но пяточок были такими большущими, что самого черта и видно за ними не было. Рисунок я принес деду. Показал.

– Это что? – спросил дед.

– Чойт, – ответил я, досадуя на непонятливость деда.

– Таких чертей не бывает.

– А хуже чейтей?

– Ишь ты, пострел, – удивился дед. Полез в буфет, достал оттуда горшок с медом, налил в блюдце. – Ешь! – И посоветовал: – Ты вон Тузика рисуй. Корову. А чертей не надо: грех. Боженька уши отрежет.

– Не отъежет, – возразил я и, не притронувшись к меду, пошел искать папу, чтобы узнать у него, на кого похожи те, кто хуже чертей.

Но папа опять косил сено для коровки. А дома был дядя Миша. У него я и спросил. Но дядя Миша, выслушав меня, ничего не понял и спросил:

– Витюшка, тебе сколько лет?

Я показал ему три пальца, потом еще пятерню и еще три пальца, и только после этого сказал:

– Тьи года и осемь есяцев. Вот скойко.

– А-я-яй! Такой большой, а так плохо говоришь. – И, повернувшись к маме: – Мань, что это он у тебя так говорит? Этак привыкнет и не отвыкнет.

– Да уж я и так, и этак, а он все свое.

– А ты учи его буквам. Начнет буквы читать и заговорит правильно.

С тех пор стала мама учить меня буквам. Найдет где-нибудь большую букву и говорит:

– Это эрррр. Скажи: эрррр.

– Э-гххххх, – говорю я.

– Зарычи: rrrr-рыыы...

– Rrrr-рыыыы!

– Ну вот, видишь? Умеешь ведь. Скажи эрррр.

– Э-гхххххххх...

– Вот отшлепаю тебя, – сказал папа сердито, – сразу заговоришь правильно.

А мама сказала:

– Беда мне с тобой. И что из тебя получится? Один бог знает.

Спросить бы у бога. Но дядимишин бог такой сердитый и молчаливый, что спрашивать его боязно. Впрочем, я и так знаю, кем вырасту – военным.

А тут папа, так меня и не отшлепав, собрался и уехал в Ленинград, потому что ему пора на работу.

А мы с мамой и Людмилкой остались, потому что нам еще не пора.

И это все, что я могу рассказать о своем довоенном прошлом.

Глава 25

Короток отпуск у рабочего человека: всего-то двенадцать дней, плюс выслуга, плюс вредность, если у кого они имеются, а еще плюс отгулы. У итээровца побольше раза в два. У Василия Мануйлова выслуга имелась, отгулы тоже. Набралось двадцать дней. Могло быть и больше, но не дали. Дни отпускные пролетели так быстро, что, казалось, приехали лишь вчера, а сегодня собирайся обратно.

На семейном совете порешили, что Мария останется с детьми в деревне еще хотя бы на месяц: и колхозу поможет на уборке льна, и дети под присмотром тетки Полины, жены брата Михаила, и молоко парное, и все прочее прямо с грядки.

Уезжал Василий после прощального застолья, едва держась на ногах. Привезли его на станцию в Спирово дядя Миша с племянником, втащили в вагон, положили на лавку. Сами едва успели выскочить: поезд стоит в Спирово едва ли больше минуты. Утром Василия растолкали, продрал он глаза – Ленинград. Здравсти вам, приехали. С вокзала добрался до дома на такси, открыл дверь, вошел в свою комнатенку, такую пустую, осиротелую, упал на кровать, проспал почти весь оставшийся день. Проснулся – голова трещит, во рту помойка.

Пусто в комнате, пусто на душе. Сейчас бы прижать к своей груди Вику, дышать запахами ее тела, волос, слушать ее голос, изменчивый и трепетный, как голос листвы под легким ветерком, и ласкать, ласкать, ласкать...

Вскочил, заметался, кинулся из дому вон... трамвай, малолюдные улицы, дождь. Примчался в библиотеку на Васильевском острове, где работала Вика, вошел, пошарил глазами – нету. Спросил у знакомой библиотекарши, девицы манерной, заносчивой. Уволилась твоя Вика, ответила библиотекарша, уехала в Москву. И так передернула узкими плечиками, что Василия жаром обдало, как от вагранки. Вышел на улицу – хоть вой.

Вернулся Василий домой, достал из чемодана припасенную бутылку самогонки, деревенские харчи, за час опорожнил бутылку и свалился в беспамятстве. Утром еле встал, помятый, потрепанный, на себя не похожий. Таким и на работе появился. Мастер покачал головой, послал Василия на выгрузку вагона с лесом – пока не проветрится окончательно.

И весь месяц, пока Мария жила в деревне с детьми, пил по вечерам в одиночестве, чтобы ничего не знать, не видеть, не помнить. И не было ему дела до того, что где-то там наши воюют с японцами, убивая друг друга, что в Испании генерал Франко победил республиканцев, что в Европе пахнет войной, о чем день и ночь долдонит черная тарелка репродуктора, что кого-то судят за троцкизм и прочие прегрешения, а кого-то оправдывают, что СССР начал спор с Финляндией из-за Корельского перешейка, – ни до чего ему не было дела. Одна лишь болячка саднила в его душе, и он не знал лучшего способа вылечить ее, как тихо напиваться в своей комнатенке после работы и тут же заваливаться спать.

Конец двадцать четвертой части

Часть 25

Глава 1

Алексей Петрович Задонов свой отпуск проводил в Крыму, в Алуште, в доме, снятом на все лето, с женой и детьми. Даже и не отпуск – какой такой отпуск у человека свободной профессии! – а летние каникулы своих детей. На работу ему идти не нужно, Маша не работает вообще – отдыхай, сколько влезет. Были бы деньги. Деньги были. Да и в Алушту он приехал не отдыхать, а работать. Маша и дети – другое дело.

День у Алексея Петровича начинался перед обедом с купания в море и завтрака – в то время как все обедали. Затем чтение газет и кое-каких прихваченных с собою книг. Главное начиналось вечером – сидение за столом на открытой веранде при свете настольной лампы, под шелест крыльев ночных бабочек. Сидел он над рукописью нового романа, сюжет и основная идея которого ему еще не были ясны даже приблизительно. Собственно говоря, он и всегда-то так начинал – с какого-то толчка, неясной мысли, запомнившейся необычной фразы, а сюжет, идея и все прочее рождались потом, в процессе творчества. Писать по плану он не умел. И не любил. Даже свои журналистские репортажи, очерки и статьи начинал с первого, пришедшего на ум слова, уверенный, что талант – на то он и талант, чтобы самому выбирать верную дорогу. А если таланта нет, то дай такому человеку хоть какой наиподробнееший план, ни романа, ни повести, ни даже рассказа не получится, а получится – в лучшем случае – изложение на заданную тему.

– Посмотрим, – ухмылялся Алексей Петрович в минуты благодушия, – что вылупится из яичка, которое я взялся насиживать. Может вылупиться цыпленок, может гадкий утенок, может крокодилычонок или черепашонок.

Дети смеялись и не понимали, о чем говорит папа. Разве что Ляля, отсмеявшись, начинала хмурить лобик и втихомолку доискиваться до истины. Маша снисходительно улыбалась.

Критики насакивали на Алексея Петровича за рыхлость форм, расплывчатость сюжета, но Алексей Петрович никак не реагировал на критику, а если приставали с ножом к горлу, отвечал, что пишет, как умеет, что ни лучше, ни хуже отпущенного ему природой создать не способен, что, наконец, как бы его ни критиковали, толку от этого не будет, потому что написанное – все равно, что с возу упавшее, а ненаписанное ему самому не ведомо не только в деталях, но и в принципе. Разумеется, опыт кое-что дает, но не самое главное. И вообще: ваше дело критиковать, мое дело работать. Не было бы меня и мне подобных, вам бы, уважаемые критики, пришлось бы самим писать романы, а делать этого вы не умеете, так что не пишите сук, на котором сидите.

Но критики пилили и даже изощрялись в своем благородном неистовстве, уверенные, что писатели всегда были, есть и будут, как уверены волки, что бараны никогда не переведутся и что существуют они исключительно для того, чтобы их ели. На этом критики сходились не только с волками, но и с издателями, редакторами и цензорами. Однако после того как Алексею Петровичу была вручена премия Союза писателей за книгу очерков и роман «Перековка», его слишком больно кусать остерегались, разве что пощипывали да поклевывали.

Так вот, хотя Алексей Петрович не знал наверняка, что высидит из своего яичка, однако внутренне был уверен, что высидит роман. На этот раз настолько значительный, что он составит целую эпоху в русской литературе. Тем более – в советской. Именно это ожидание усаживало Алексея Петровича за стол и наполняло все его существо ликованием неимовер-

ным. Особенно тогда, когда из-под пера его выходили такие страницы, каких он и сам от себя не ожидал: наполненные сочной, размашистой прозой, свободно текущей и несущей в своем потоке новые чувства и новые мысли. Даже Маша, по обыкновению переписывающая по утрам его каракули, смотрела иногда на своего мужа затуманенными глазами, в которых мерцало отражение того ликования, каким был переполнен сам Алексей Петрович.

Была и еще причина для ликования: XVIII-й съезд партии подвел итоги Большой чистки, и волна арестов сразу же пошла на спад. Страх, который постоянно держал в своих тенетах душу Алексея Петровича после ареста и смерти брата, стал ослабевать, к лету ослабел настолько, что Алексей Петрович окончательно поверил, что все опасности для него позади, а впереди прямая и светлая дорога без единого ухаба и рытвины. Конечно, не проживи он предыдущие два года в этом страхе, предлежащая дорога казалась бы ему не такой уж прямой и светлой – все, как известно, познается в сравнении. Как в том анекдоте: «У вас маленькая жилплощадь? Тесно? Негде повернуться? Поселите на нее еще несколько человек, а также собаку, кошку, козу и свинью. Поживите этак-то с полгодика, затем все верните в прежнее состояние и вы почувствуете, что ваша жилплощадь не такая уж маленькая и тесная, более того, она настолько просторна, что вы можете перемещаться по ней, никого и ничего не задевая».

В состоянии приподнятости и восторга, так называемого вдохновения, Алексей Петрович жил почти все лето. На него как-то не слишком повлияли все те тревожные события, происходящие в мире, о которых он узнавал из газет: все они меркли в сравнении с тем, что он пережил за последние два-три года. И дело не только в том, что своя рубашка ближе к телу, а в том, что бродило и вызревало в глубинах его души, – или того, что ею называется, – не пуская туда ничего лишнего. Да и что лично он может противопоставить тому, что будоражило мир, разваливая одни его части и соединяя другие? Ровным счетом ничего. Ни он, ни вся мощь его страны, ни самодовольная осторожность западных демократий не могли воспрепятствовать Германии подминать под себя Восточную Европу, приближаясь к границам СССР, или Италии, захватившей Албанию, нацеливаясь на Югославию и Грецию; как не смогли все эти разнонаправленные силы сохранить от гибели республиканскую Испанию. Вот разве что на востоке Красная армия какой уж месяц ведет бои с японскими войсками в районе монгольской границы у реки Халхин-Гол, и верилось, что не может она, Красная армия, не имеет права уступить японцам. Даже ценою жизней своих солдат.

Все эти события, вместе взятые, конечно, прискорбны и печальны, но сколько не скорби и не печалься, а жизнь берет свое. И есть нечто главное, что выше и важнее всего: на тебе лежит обязанность свершить такое в этой жизни, чего за тебя никто свершить не сможет. И ты должен это свершить, что бы ни происходило в этом мире. Уверенность в своей предначертанной свыше обязанности возводило прочную стену между писателем Алексеем Задоновым и всем остальным человечеством, за которой так привычно и удобно прятаться. Если что и потрясло Алексея Петровича, так это неожиданное подписание с Германией договора о взаимном ненападении сроком на десять лет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.